

8 p 2

Л-52

ЧРГЕНЕВ

83.3P5-8

Λ 52

43112.



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
СРОКОВ ВОЗВРАТА  
КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО СРОКА

Колич. пред. выдач.

--

8р 2  
Л-52  
У.С.  
(жизн.)


~~23188~~  
15826

Тург.

83.305-8  
Л52

32 г.

ФОНД НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ  
В. Г. КОРОЛЕНКО.

15826  
23188  
83185  
Летопись

Ек. Леткова.

Иван Сергеевич

# ТУРГЕНЕВ

(Жизнь и творчество)



0536297

„КУЛЬТУРА и СВОБОДА“

Просветительное О-во въ память 27 февраля 1917 г.

Петроград, Лиговская ул., 3.

1918.

ЧИТАЛЬНЯ  
ИМЕНИ  
И. С. ТУРГЕНЕВА.



ПРОВЕРЕНО 2009

т. 146

1955 г.

1962 г.

1972 г.

ПРОВЕРЕНО

ПРОВЕРЕНО 2014

43112

ЧИТАЛЬНЯ  
ИМЕНИ  
ТУРГЕНЕВА

Типография „ПЕЧАТЬ“, Петроград, Броницкая улица, дом № 15.

Фонд редкой книги  
ТУРГЕНИАНА

## Иван Сергеевич Тургенев.

Это было ровно сто лет тому назад. 28 октября 1818 г., в г. Орле произошло совершенно обыкновенное событие: у офицера елисаветградского кирасирского полка, Сергея Николаевича Тургенева, и его жены Варвары Петровны родился сын и наречен был Иоаном. Родители, вероятно, порадовались этому событию, но, так как у них уже был первый сын—то особого счастья в этом не получили. К мальчику приставили крепостную кормилицу и крепостных нянек, и ребенок стал расти, как росли тогда почти все помещичьи дети: в мезонине, т. е. в верхней пристройке деревянного, барского особняка, подальше от родителей, чтобы не было слышно крика и плача, на руках многочисленной дворни и крепостных нянек и дядек.

Никто, конечно, и не предполагал тогда, что этому мальчику было суждено современем стать гордостью России, всемирно известным писателем—Иваном Сергеевичем Тургеневым.

---

Жизнеописание Тургенева мог бы рассказать настоящими словами только сам Иван Сергеевич; он этого не сделал, но просто и откровенно указал: »Моя биография в моих сочинениях“. И даже назвал, в которых из них он описал отца, мать, первого своего учителя и этим



дал ценный материал, верный и яркий тому, кто захотел бы узнать, как рос, воспитывался и жил наш великий писатель.

---

Мать Тургенева—Варвара Петровна—происходила из знаменитого рода Лутовиновых, славившихся на всю губернию своим помещичьим удалством и самоуправством необузданных полновластных бар. Исключительно мрачно сложилось ее детство, и особенно несчастна была ее молодость.

Овдовевши еще почти молодою, мать Варвары Петровны вторично вышла замуж за Сомова, тоже вдовца и отца двух взрослых дочерей. Катерина Ивановна никогда не любила своей дочери от первого брака и сделалась, под влиянием своего второго мужа, мачехой для Варвары Петровны и матерью для девиц Сомовых, ее падчериц. Все детство Варвары Петровны было рядом унижений, оскорблений, жестокостей. Сомов ее ненавидел, заставлял в детстве подчиняться своим капризам и капризам своих дочерей, бил ее, всячески унижал и после обычного употребления „ерофеича“ и мятной сладкой водки на Варваре Петровне срывал свой буйный хмель. Когда же ей минуло 16 лет, он начал преследовать ее своими любезностями. Во избежание позора, самого унижительного наказания за несогласие на позор, Варваре Петровне удалось, с помощью преданной ей няни Натальи Васильевны, бежать из дома вотчима. И она пешком, полураздетая, убежала за шестнадцать верст и нашла убежище в доме родного дяди своего, Ивана Ивановича Лутовинова, владельца села Спасского.

Дядя принял ее под свою защиту и, несмотря на требования матери, не пустил ее обратно в дом вотчима.

Катерину Ивановну Сомову—И. С. описал в рассказе „Смерть“ („Записки Охотника“): барыня, заплатившая сама

священнику за свою отходную, была родная бабка Ивана Сергеевича.

Горькия воспоминания о том, что Варвара Петровна испытала в доме вотчима, остались у нее на всю жизнь и прорывались у нее постоянно.

„Ты не знаешь,—говорила она часто своей воспитаннице,—что значит быть сиротою; ты сирота, но ты во мне имеешь мать, ты так окружена моими заботами и моей любовью, что не можешь сознавать своего сиротства“. Или — „Быть сиротою без отца и матери тяжело; но быть сиротою при родной матери ужасно, а я это испытала, меня мать ненавидела“.

В доме дяди Варваре Петровне жилось лучше, хотя он и держал ее в ежовых рукавицах, и она жила почти взаперти в Спасском. Варваре Петровне пришлось покоряться его воле и причудам, потому что это был настоящий самодур, человек, не знавший преград своей власти. Яркое изображение его дал Тургенев в очерке „Однодворец Овсянников“.

„Властный был человек! Обижал нашего брата, рассказывает Овсянников. Ведь вот, вы, может, знаете... Клинт-то... Он у вас под овсом теперь... Ну, ведь он наш,—вес, как есть, наш. Ваш дедушка у нас его отнял; выехал верхом, показал рукой, говорит: Мое владенье,—и завладел.“

Отец-то мой покойник (царство ему небесное!) человек был справедливый, горячий был тоже человек, не вытерпел,—да и кому охота свое добро терять? и в суд просьбу подал. Да один подал, другие-то не пошли—побоялись. Вот, вашему дедушке и донесли, что Петр Овсянников, мол, на вас жауется: землю, вишь, отнять изволили... Дедушка ваш к нам тотчас и прислал своего ловчего Бауша с командой... Вот, и взяли моего отца и в вашу вотчину повели. Я тогда был мальчишка маленький, босиком за ним побежал. Что-ж?.. Привели его к вашему дому да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит



на балконе да посматривает; а бабушка под окном сидит и тоже глядит. Отец мой кричит: «матушка Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!» А она только, знай, приподнимается да поглядывает. Вот, и взяли с отца слово отступить от земли и благодарить еще велели, что живого отпустили. Так она и осталась за вами“.

В такой обстановке, одинокая, униженная, как бедная родственница, прожила Варвара Петровна всю молодость. Когда ей было 30 лет—для девушки в те времена это была уже почти старость—дядя умер, и она сделалась владелицей 5.000 человеческих душ и прекрасного имения. Сейчас же появился жених, красивый, легкомысленный, разорившийся помещик. Варвара Петровна любила его искренно; он не скрывал, что женился не по любви. Она была старше его на несколько лет. Замужество было не радостное. Дети видели, что мать их вела „печальную жизнь, беспрестанно волновалась, ревновала, сердилась—но не в присутствии отца; она очень его боялась, а он держался строго, холодно, отдаленно. Это был человек изысканно-спокойный, самоуверенный и самовластный.. Одевался очень изящно, своеобразно и просто..

Странное влияние имел он на сына, и странные были их отношения. Он почти не занимался воспитанием сына, но никогда не оскорблял его; он уважал его свободу,—он даже был, если можно так выразиться, вежлив с сыном, только он не допускал его до себя. Мальчик любил его, любовался им, отец казался ему образцом мужчины—и сын готов был страстно привязаться к нему, если бы постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато, когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить в сыне неограниченное доверие к себе. Душа мальчика раскрывалась; он болтал с ним, как с другом, как с снисходительным наставником... потом он так же внезапно покидал сына, и рука его опять отклоняла его ласково и мягко—но отклоняла. На него находила иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить

с сыном, как мальчик (он любил всякое сильное, телесное движение); раз всего, только раз!—он приласкал сына с такою нежностью, что тот чуть не заплакал... Но и веселость его и нежность исчезали без следа—и то, что происходило между отцом и сыном, не давало мальчику никаких надежд на будущее. «Точно я все это во сне видел,» рассказывает Тургенев в своей повести «Первая любовь», где, по его словам, описан его отец.—Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо... Сердце мое задрожит, и все существо мое устремится к нему... Он, словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке и либо уйдет, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать, и я тотчас же сожмусь и тоже похолодею. „Редкие припадки расположения отца к сыну никогда не были вызваны безмолвными, но понятными мольбами мальчика, они происходили всегда неожиданно. Размышляя впоследствии о характере отца, сын пришел к тому заключению, что ему было не до него и не до семейной жизни; он любил другое и наслаждался этим другим вполне. «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать—в этом вся штука жизни»,—сказал он однажды. В другой раз, сын, в качестве молодого демократа, пустился в его присутствии рассуждать о свободе (отец в тот день был добрый: тогда с ним можно было говорить, о чем угодно). Свобода?—повторял он—а знаешь ли ты, что может человеку дать свободу?»

— Что?

— Воля, собственная воля, и власть она дает, которая лучше свободы. Умей хотеть и будешь свободным, и командовать будешь.

Отец Ивана Сергеевича прежде всего и больше всего хотел жить—и жил... Быть может, он предчувствовал, что ему не придется долго пользоваться «штукой жизни»: он умер лет сорока двух-трех.

Нелады отца с матерью не могли не влиять на ребенка, он не мог не замечать, как мать постоянно в чем-то



упрекала отца, «а он—по своему обыкновению, холодно и вежливо отмалчивался“...

Тургенев знал, что на его холодного и сдержанного отца находили иногда порывы бешенства, и не мог понять, как этот изящный и якобы воспитанный человек не только выносил деспотический уклад в своей семье, но и сам был не менее жесток с домочадцами, чем Варвара Петровна.

Уже через много лет Ив. С. вспоминал с особенным волнением, как отец раз поднялся наверх, в классную комнату детей, и увидел, как гувернер-немец—конечно, не в первый раз,—выведенный из терпения шалостями и невнимательностью старшего мальчика—тряс его за волосы. Отец схватил немца за ворот, приподнял его на воздух и, сбросив его с лестницы второго этажа, приказал слугам собрать сейчас же все его вещи и вывезти его вон из имения.

Про дикие расправы с дворовыми и крепостными и говорить не приходится...

«Мне нечем помянуть моего детства,—вспоминал Ив. С.—ни одного светлого воспоминания. В нашем доме царила непомерная строгость,—матери я боялся, как огня. Меня наказывали за всякий пустяк, одним словом, муштровали как рекрута. Редкий день проходил без розог, а когда я отваживался спросить, за что меня наказывали,—мать категорически заявляла: «тебе об этом лучше знать, догадайся?“

Эта атмосфера „побоев и истязаний“ сделала для мальчика жизнь положительно нестерпимой, и он, несмотря на привязанность к матери и на восхищение отцом, решил уйти от них, бежать, куда глаза глядят. И вот, раз, дождавшись наступления ночи—когда все в доме уснуло, он захватил узелок с провизией и необходимым бельем и, как крот, осторожно побрел по темному коридору. Но тут его поймал немец-воспитатель. Он взял Ив. С. за руку, отвел в детскую, журил, уговаривал, старался доказать всю неблагоприятность его поступка. На другой день он долго оставался в комнате Варвары Петровны, и, хотя содержа-

ние их беседы осталось для Тургенева тайной, но с того дня наказания уже не повторялись так часто.

---

Вскоре после рождения сына Ивана, Сергей Николаевич Тургенев вышел в отставку, и вся семья поселилась в имении Варвары Петровны — Спасском-Лутовинове, в 12 верстах от г. Мценска, Орлов. губ.

Когда Ивану Сергеевичу было четыре года, родители его поехали за границу с детьми, на собственных лошадях, с множеством крепостных слуг, в двух каретах. Они побывали в Германии, Швейцарии и Франции, но это не изменило их отношения к своим „людям“ и, возвратясь в родное гнездо, они зажили обычной помещичьей жизнью. Только к сыновьям приставили иностранных воспитателей, преподавание же русского языка поручили крепостному камердинеру. Главной заботой оставалось, чтобы мальчики научились говорить по-французски и по-немецки, и чтобы на русский язык не тратить ни денег, ни времени. Варвара Петровна сама говорила и читала только по-французски; русской литературы не признавала и не желала, чтобы сын занимался ею. И будущий великий русский писатель должен был прятаться от матери где-нибудь в глухом углу помещичьего сада или в дальней комнате большого барского дома, чтобы слушать камердинера, читавшего ему вслух Ломоносова, Державина, Хераскова... Это придавало его любви к русской книге особый характер: чего-то дорогого, запретного и трудно достижимого.

Ив. С. описал все это в чудесном рассказе „Пунин и Бабурин“.

Пунин — Федор Лобанов, камердинер Варвары Петровны.

„Не могу выразить тех чувств, которые я испытывал, когда, улучив удачную минуту, Пунин являлся—подобно баснословному отшельнику или доброму духу—с большим томом под мышкой. Подавая мне таинственные знаки своими кривыми пальцами и подмигивая глазами, он давал



мне понять головой, плечами, разными телодвижениями, в каком укромном местечке сада он меня будет ждать, и где нас не найдут...

«Вот, наконец, нам удалось выйти из дома незамеченными. Мы в укромном местечке... Сидим рядком... книга раскрывается, издавая запах сырости старой бумаги, но даже этот терпкий запах казался мне тогда удивительно приятным. Я дрожал, волновался, в глубоком молчании следя за его губами, ожидая с замиранием сердца, когда польются сладкие звуки... Наконец, начиналось чтение. Все исчезало у меня из глаз... или скорее умялялось, уничтожалось... заволакивалось туманом, оставляя в душе умильное, доброе чувство!»...

«Пунин, большею частью, выбирал для чтения звучные и торжественные стихи, он влагал в них все силы своей души. Он скорее декламировал, чем читал, говорил с пафосом, несколько гнусавя, как-бы оп'яневший или пиюия... Начинал бормоча, скороговоркой—это значило читать „начерно“, потом уже „набело“, громко, размахивая при этом руками или поднимая их с мольбой или с грозным жестом».

Так мы с ним прочли не только Ломоносова, Кантемира (чем стихи были древнее, тем они более ему нравились), но и Россиаду „Хераскова“. В этой поэме фигурирует женщина-татарка, истинная героиня, имя которой я забыл, но тогда при малейшем об ней напоминании я весь холодел. Признаюсь откровенно, что Россиада увлекла меня тогда больше всего.

„Да,—говаривал при этом Пунин, качая головой,— Херасков не дает спуска! Иногда у него вырываются такие стихи, что чуть устоиш на ногах. Только хочется тебе прочувствовать всю их глубину, а он уже несетя дальше, гремит, звучит, как „кимвал“. И какое славное имя— Хер-р-расков»!

Слог Ломоносова Пунин находил слишком простым и свободным, а к Державину относился несколько неприяз-



ненно, считая его более царедворцем, чем поэтом-сочинителем“.

Дома у Тургеневых с презрением относились к русской литературе и поэзии, а русские стихи считали за что-то нескромное и даже пошлое. Бабушка Тургенева называла русские стихи не иначе, как „песнями“, и, по ее мнению, каждый русский поэт был непременно или пьяница, или дурак...

Воспитанному в таких понятиях ребенку предстояло одно из двух: или отвернуться от Пунина—он, действительно, был крайне грязен и неряшлив, что несколько претило аристократическим привычкам мальчика, или последовать его „страсти к поэзии“. Последнее взяло верх. Он принялся декламировать, или говоря языком бабушки, „петь песни“ и даже рискнул писать стихи. Первым опытом его ребяческой поэзии было описание «Шарманки». Пунин нашел подражание довольно гармоничным, но не одобрял сюжета, находя его слишком вульгарным, низменным, не стоящим быть воспетым „на струнах лиры“.

Влияние Пунина-Лобанова, несомненно, положило прочный фундамент всей дальнейшей работе детской души, всему умственному складу Тургенева. Ни боязнь матери, ни старания иностранцев-воспитателей не могли помешать кроткому мальчику отдалиться от „дома“ и всего домашнего и создать свою собственную жизнь. Свободные от уроков часы он проводил с крестьянами, видел их существование в неприкрашенном виде и познал очень рано всю «правду» русской жизни. Он не по-детски серьезно присматривался к окружающему, задавая недетские вопросы, хотел узнать, выяснить. Он никогда не играл игрушками, не любил никаких забав, и только природа влекла его. С первых же лет жизни его любимым занятием были птицы. В одной из комнат помещицкого дома был устроен садок, окрашенный в зеленый цвет, и сюда приносил Иван Сергеевич наловленных им сетями птичек, таскал им корм и, вместе со своим приятелем—лесным сторожем, по прозвищу «Бор-

зой»,—проводил целые часы со своими пернатыми друзьями. На дворе, у террасы, были расставлены столы для голубей, и в определенные часы мальчик кормил их. Борзой и крепостные охотники рассказывали ему о жизни птиц, о своих наблюдениях за ними во время перелета, как надо подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с „лешевой дудкой“, или с кукушкиным перелетом. Иногда они приносили мальчику выводки, указывая на особенности пород. Тургенев рано стал уходить на охоту вместе со взрослыми, уходил в лес, на болото и жил в природе. Здесь он научился видеть всю ее красоту и находить для описания ее такие тонкие и верные слова и краски. А главное, здесь он научился любить русскую природу и простого русского человека.

Белые комья облаков в чистой лазури и звезды небесные, и леса, и поля, и золотой голосок малиновки с невинной болтливой радостью, и реющий в воздухе голубь—стали ему понятными, близкими и дорогими, и он, при первой возможности, убегал из дома, несмотря на гнев и наказания матери. Да он и не боялся наказаний. По крайней мере, он не жаловался на них, не описывал их. В те времена наказания, розги входили в воспитание почти каждого ребенка, и никто особенно не считался с ними. Неизмеримо большее впечатление оставили на Ивана Сергеевича истязания крепостных, и этого он не мог ни забыть, ни простить всю жизнь.

Шестилетнему ребенку случалось видеть, как к матери, сидевшей у окна, подходили, понуря голову, ее люди, ссылаемые ею за какую-нибудь провинность и обязанные перед отъездом явиться на поклон к барыне.

Первые годы жизни Ивана Сергеевича все наполнены такими впечатлениями. Варвара Петровна придиралась к слугам с необыкновенной утонченностью, не выносила противоречий за мельчайшую провинность—приговаривала к наказаниям. Но мальчик еще не понимал их сущности и не постигал, что давало начало такому деспотизму, с одной сто-



роны, и такому бесправию—с другой. Это понимание явилось позже и было приговором Варваре Петровне. А пока добрый и любящий сын только старался быть подальше от матери и убежал от нее в лес, в поле, к «людям»...

Так жил И. С. до девяти лет, когда решено было переехать всей семьей в Москву, для воспитания детей.

---

В начале 1827 года Тургеневы поселились в Москве; купили собственный дом, перевезли из Орловского имения громадный штат прислуги и зажили широкой дворянской жизнью. Ивана Сергеевича сейчас-же поместили в немецкий пансион, а потом отдали жить и учиться к директору Лазаревского Института Краузе для изучения иностранных языков. Мать сама следила за образованием сыновей, не жалела трат, заботясь и здесь, главным образом, об основательном знании иностранных языков. Варвара Петровна была, по тому времени, достаточно образована, ездила за границу, много читала, но только западную литературу. Она сама называла себя женщиной «читающей и понимающей»; она любила и умела писать. Письма ее и дневники написаны своеобразным слогом светской женщины и пересыпаны народными изречениями, шутками, с искренними взрывами негодования, злобы, с нежными излияниями и воплями тоски.

Занятия Ивана Сергеевича под ее строгим наблюдением пошли в Москве очень успешно, и он уже в 1833 году, т. е. 15-летним мальчиком, был студентом словесного факультета Московского университета. Но здесь ему пришлось пробыть только год. Старший брат его—Николай поступил на службу в гвардейскую артиллерию, в Петербурге. Мать не хотела отпускать 18-ти летнего сына одного и переехала со всей семьей за ним, переведя и Ивана Сергеевича в Петербургский университет. В этом же году (1834) умер отец Тургенева, и, хотя Варвара Петровна после его смерти решила поселиться в Москве, Иван Сергеевич остался в



Петербурге и, в первый раз почувствовав себя свободным— начал самостоятельную жизнь.

---

Петербургский университет того времени не стоял в научном отношении на должной высоте: лекции читались по книгам или по запискам на русском или немецком языке и к экзамену вызубривались студентами наизусть. Уровень развития студентов был низкий, наука не интересовала их,—больше пили—и болтали, чем учились, и время проводили в кружках.

Иван Сергеевич стоял гораздо выше их, и эти кружки не удовлетворяли требований талантливой и оригинальной юности. Чем были эти кружки—Иван Сергеевич рассказал позже в своем «Гамлете Щигровского уезда:

«Кружок—да это гибель всякого самобытного развития; кружок—это безобразный замен общества, женщины, жизни.. Кружок—это ленивое и вялое житье вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела; кружок заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне, отвлекает от уединенной благодатной работы, прививает вам литературную чесотку; лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души. Кружок—да это пошлость и скука, под именем братства и дружбы, сцепление недоразумений и притязаний, под предлогом откровенности и участия; в кружке, благодаря праву каждого приятеля—во всякое время и во всякий час запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность товарища, ни у кого нет чистого нетронутого места на душе; в кружке поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носят на руках стихотворца бездарного, но с «затаенными» мыслями; в кружке молодые семнадцатилетние малые хитро и мудренно толкуют о женщинах и любви, а перед женщинами молчат или говорят с ними, словно с книгой,—да и что говорят! В кружке процветает хитростное красноречие; в кружке наблюдают друг за другом не хуже полицейских

чиновников... О кружок! Ты не кружок: ты—заколдованный круг, в котором погиб не один порядочный человек!..»

Тургенев оказался один, но не одинокий, потому что он искренно любил науку и жадно стремился к просвещению. Он усердно посещал лекции и, кроме того, брал частные уроки по древним языкам у одного известного латиниста Вальтера: он в продолжение двух лет (1835—1837) читал с ним Горация, Тацита, Фукидида, Софокла и других классиков. Вальтер свидетельствует, что Тургенев был замечательно прилежен, учил уроки, писал сочинения и никогда не пропускал занятий. Знание древних языков нужно было Тургеневу, как основа общего образования, так и для изучения философии; эту кафедру в Петербургском университете занимал тогда немец Фишер, не знавший ни одного слова по-русски и читавший лекции по-латыни.

Кроме философии—Тургенева влекла история литературы. Любовь к родной словесности, к родному языку, сблизила его с П. А. Плетневым, бывшим тогда ректором университета и профессором русской литературы. Он сейчас же почувствовал в нем тонкий и чистый вкус, теплоту и искренность отношения к своему предмету! у Плетнева было то достоинство, что он умел сообщать своим слушателям те симпатии, которыми сам был исполнен, умел заинтересовать своих слушателей. Кроме того, в глазах молодежи его окружал ореол человека, прикосновенного к знаменитой литературной плеяде, друга Пушкина, Жуковского, Баратынского, Гоголя, наконец, человека, которому Пушкин посвятил одну часть своего Онегина. Все наизусть знали стихи «Не мысля гордый свет забавить» и т. д.

И действительно, кто знал хорошо Плетнева, не мог не признать в нем «души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и красоты».



К этому человеку и понес молодой Тургенев один из первых плодов своей Музы и доверчиво отдал на его суд свою фантастическую драму в стихах, под заглавием «Стенио».

В одну из следующих лекций, Плетнев, не называя Тургенева, разобрал, с обычным своим благодушием, „это совершенно нелепое произведение (по словам И. С.), в котором с детской неумелостью выражалось робкое подражание Байроновскому Манфреду. И уже выйдя из университета, Плетнев на улице подозвал Тургенева к себе и отечески пожурил его, при чем заметил, что в авторе «что-то есть». Эти два слова ободрили И. С., и он отнес Плетневу еще несколько стихотворений. Плетнев выбрал из них два, и, год спустя, напечатал их в «Современнике». В одном из них воспевался «Старый Дуб», и начиналось оно так: «Маститый царь лесов, кудрявой головою склонился старый дуб над сонной гладью вод».

Плетнев не только принял для печати стихотворения Тургенева, но и пригласил молодого поэта на свои литературные вечера, следовательно, ввел его в писательскую семью и, может быть, этим решил его участь навсегда. Здесь он познакомился почти со всеми выдающимися писателями того времени и даже раз встретил Пушкина, своего бога, которому он поклонялся всю жизнь.

---

Каждое лето Тургенев проводил в своем родном Спаском-Лутовинове с матерью, но это только все более и более углубляло пропасть между ними. Отношение Варвары Петровны к народу, ее ненужная жестокость и взбалмошность, еще обострившиеся с годами, приводила Тургенева в такое негодование, что он каждый свой приезд готов был порвать с матерью. Но ее горячая любовь к нему, хотя и с постоянными выходками гнева и раздражения, побеждала мягкого и деликатного И. С., и он шел на разные уступки. Любовь к матери, готовая все прощать,

брала верх над негодованием, он оставался в Спасском; мать затихала, все были довольны, но опять какой-нибудь пустяк вызывал раздражение Варвары Петровны, и опять Иван Сергеевич, чтобы не потерять самообладание, бежал от матери. Бывали случаи, которых он не мог простить Варваре П-не всю жизнь. Таков, например, ее поступок с немым дворником и его собакой. Ив. С. не забыл его никогда и через много лет (в 1852 г.) описал его в своем художественном произведении—*Муму*, которое Карлейль, знаменитый английский писатель, считал самою трогательною повестью на свете. В этой повести барыня, по злой прихоти, лишает немого крестьянина Герасима (в жизни его звали Андреем) земли, к которой он был чисто по-крестьянски привязан, и переводит в город дворником. Здесь он понемногу привыкает, а потом и привязывается глубоко и трогательно к дворовой девушке Татьяне, кроткому, безответному созданию. Барыня от скуки выдает Татьяну замуж за пьяницу-башмачника, чтобы излечить его от пьянства. У несчастного Герасима остается на свете один друг—спасенная им собака Муму; с детской нежностью привязывается он к ней; но собака раздражала барыню лаем и сердила ее своей непокорностью; барыня приказала удалить ее со двора. Герасим сам утопил ее...

Подобные случаи были, может быть, самыми острыми причинами разрыва Ивана Сергеевича с матерью. Живя в Спасском, он целыми днями пропадал с ружьем в лесу, с крестьянами и вынес из их жизни множество прекрасных, светлых наблюдений, а „родной дом“, по его признанию, не дал ему ни одного светлого воспоминания.

Окончив университет (в 1836 г.), Тургенев решил отдаться научной деятельности. Но, сознавая, как мало знаний дал ему петербургский университет—он решил поехать в Берлин доучиваться и приобщиться к настоящей науке. Но Варвара Петровна была против этой поездки, и





произошла первая крупная размолвка матери с сыном. В конце концов, мать должна была уступить и даже высказывала сочувствие желанию сына продолжать образование. В ее письмах к сыну, относящихся к этому времени, очень много драгоценных указаний и на отношения ее к детям, и сведений о самой Вар. Петр. и всем укладе тогдашней помещичьей жизни.

В. П. сознавала пользу образования, но по-своему: оно нужно было для карьеры, для различных житейских выгод и для успеха в обществе. И она не только согласилась на отъезд сына, но послала с ним крепостного врача, все время следила за жизнью И. С. за границей и требовала частых и аккуратных писем от него.

А он—как видно из писем матери—весь окунулся и новую жизнь, в новые впечатления, и как-бы совсем вычеркнул мать из своего существования. Русская жизнь, та русская жизнь, в которой он так много страдал, внушала ему отвращение, и он не без радости оторвался от нее...

«Лично я—говорит Тургенев,—весьма ясно сознавал все невыгоды подобного отторжения от родной почвы, подобного насильственного перерыва всех связей и нитей, прикреплявших меня к тому быту, среди которого я вырос... Но делать было нечего. Тот бытъ, та среда и, особенно, та полоса ее, если можно так выразиться, к которой я принадлежал—полоса помещичья, крепостная,—не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив: почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования—отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей по избитой дороге, либо отвернуться от »всех и вся«, даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал... Я бросился вниз головою в «Немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и, когда я наконец вынырнул из его волн, я все-таки очутился «западником» и остался им навсегда».

В Берлин Тургенев приехал весной 1838 года и усердно принялся за занятия. Приходилось почти начинать заново. Он бодро и весело стал учиться; сейчас-же сошелся с одной русской семьей Фроловых, сдружился с Грановским и Станкевичем, познакомился с Бакуниным и зажил бойкой и интересной жизнью. Мать он почти забыл; а она тосковала в разлуке, мучилась тревогой о нем и мучила его своими тревогами. Это его раздражало и все болѣе и более отдаляло его от нее. Из громадного количества писем В. П. за это время (около 200) видно, как она мучительно любила его.

«Три недели я не получала от тебя писем, mon cher Jean. Славу Богу что не получала оттого, что ты не писал! Теперь я буду покойна... Не писал, да и только. А я замучилась думать»...

И она отдает ему и Порфирию—крепостному врачу, жившему в Берлине при И. С., свой «господский приказ»: «Ты можешь и не писать... Тогда Порфирий берет бумагу и перо. И пишет мне коротко и ясно,—Иван С.-де здоров... Но! Ту почту, когда вы оба пропустите, я непременно Николашку \*) высеку; жаль мне этого, а он прехорошенький и премиленький мальчик, и я им занимаюсь, он здоров и хорошо учится. Что делать, бедный мальчик будет терпеть. Смотрите же, не доводите меня до такой несправедливости».

Как действовали на Тургеневу, после возвышающих душу бесед с Грановским или Станкевичем, после чтения философии Гегеля—подобные угрозы (за ненаписание письма — сечь ни в чем неповинного мальчика!) — легко себе представить. Это не только еще более отдаляло сына от матери, но и все ярче и ярче рисовало ему всю картину русской жизни, где *возможны* такие угрозы.

И без сравнения с западом—весь ужас русского бесправия и самовластия предстал перед Тургеневым. Он хо-

\*) Николашка—деревенский мальчик, один из учеников Варвары Петровны в Спасском.



тел сейчас же вернуться в Россию, боролся, сомневался, и «в тяжелые минуты раздумья о том, вернуться ли на родину или нет?—писал «Записки охотника.»

«Знаю, что я, конечно, не написал бы «Записок охотника»—говорит Тургенев—если бы остался в России».

Издали он еще больше полюбил свою темную родину, несчастный, придавленный народ, кроткую русскую природу и могучий русский язык.

Письма матери становились все тревожнее и нервнее. Иногда она шутила с сыном, потом упрекала, жаловалась на его траты. Она не жалела денег на его поездку за границу, но требовала отчета в расходах, а главное, боялась долгов. «Долги—короста, пишет она. Нужно сесть прышу—все тело скоро покроет... «Опять о счетах! Проклятые счета, скажешь ты»... И в этом же письме пишет: «Так ты жив, Ванечка... Так ты жив... Ну! Как же я засну нынешнюю ночь. А то была бессонница 5 недель... 5 недель без писем. О! ради Бога не мучь меня—пиши. Пиши, или я не ручаюсь за жизнь, за рассудок. Семечки получила»..

Варвара Петровна просила сына вкладывать в письма по несколько семян, купленных в Берлине. И семена эти—помимо того, что она очень любила цветы, и сама выращивала их—радовали ее, как живая связь с любимым сыном. Но он не часто баловал мать этим вниманием, хотя из писем Варв. Петровны видно, что иногда он писал ей очень ласково и интимно, а затем опять умолкал, и она опять упрекала его:

«А! Так ты изволил гневаться на меня и пропустил 5 почт, не писав. Между письмом от 10 Сентября до 26-го Октября—ни слова! 5 почт! Извольте слушать: 1-я почта пришла,—я вздохнула, 2-я—я задумалась очень. 3-я—меня стали уговаривать, что осень... реки... почта... Оттепель. Поверила. 4-я почта пришла,—письма нет! Ванечка болен—говорила я. Нет! Он опять переломил руку... Вот и 5-я почта. Все перепугались... Думали, что я с ума сошла. И текущую неделю я была, как истукан: все ночи без сна,

дни без пищи. Ночи не лежу, а сижу в постели и приду-  
мываю. Ванечка мой умер, его нет на свете... Похудела,  
пожелтела. А Ванечка изволил гневаться».

После двух лет разлуки В. П. все чаще и чаще зо-  
вет сына домой.

... «Ванечка, я должна тебе сказать откровенно: я не  
переживу не видеть мне тебя еще году»...

... «Будь ты уверен,—пишет она 15 февраля 1840 г.—  
что я... что ты звезда моя. На нее гляжу, ею руковод-  
ствуюсь, тебя жду... жду... жду... и без тебя ничего такого  
не сделаю чтобы ты мог мне сказать: «Эх! мамаша для чего  
ты меня не подождала». Я подожду тебя... Я тебя жду..  
жду... жду... Я тебя люблю, Иван, и все, что делаю, что  
думаю, то во всем, ты... ты... ты»...

Здоровье В. П. очень ослабело, и И. С., как только  
вернулся в Россию — сейчас же проехал в Москву наве-  
стить мать. Она встретила его радостно, но скоро опять  
начались столкновения и ссоры. Разница убеждений и тре-  
бований от людей и от жизни — сказала сейчас же и,  
чем дальше, тем труднее становилось сговориться.

Наступило лето. Вар. П. поехала к себе в деревню,  
Ив. С. отправился с нею. Но здесь каждый день, на ка-  
ждом шагу он видел возмутительное обращение с крепо-  
стными, позорное злоупотребление своими правами. И ни  
горячая любовь матери к нему, ни его желание не бро-  
сать ее—не спасли: разыгралась бурная сцена и вызвала  
разрыв матери с сыном. И. С. уехал в Петербург.

Здесь ему пришлось сейчас же искать службу. До  
сих пор он жил на средства матери (имение отца было  
совершенно бездоходное). Теперь нужно было работать. И  
он прежде всего обратился к Далю, известному в то время  
писателю, директору Канцелярии Министерства Внутренних  
Дел; Т. познакомил с ним у Плетнева. Даль принял его  
к себе на службу в канцелярию, но отнесся очень требо-  
вательно к новому „чиновнику“. Тургенева же влекло ис-  
кусство, влекла литература, он на службе читал француз-



ские романы или писал стихи; образование и вынесенные из Берлинского университета впечатления били через край; на службе он, вместо отношений и рапортов, писал стихи или говорил с удивительной для того времени смелостью о таких вопросах, которых никогда не слыхали стены Министерства. Иногда на него находила безудержная веселость, и он прославился своими шутками и разными смелыми выходками.

В то же время его стихотворения, появившиеся в печати, стали обращать на себя внимание понимающих людей, и Тургенев все более и более входил в литературную среду. Он уже во время пребывания в Москве познакомился с Аксаковыми, Хомяковым и Киреевскими, а в Петербурге его ждала радость знакомства с Белинским и Герценом. Служба скоро стала для него невыносима, и он, после одного из строгих выговоров начальства, подал в отставку, к большому огорчению матери, которая опять возобновила свою переписку с сыном. В. П. считала, что для русского дворянина единственно возможная карьера— «коронная служба», а писательство— не дворянское дело. «Писатель! Что такое писатель?—говорила она,—по-моему, писатель и писец — одно и то-же. И тот, и другой за деньги бумагу марают... Дворянин должен служить и составить себе карьеру и имя службой, а не бумагомаранием. Да и кто же читает русские книги?». Но И. С. уже не считался с мнением матери и, хотя ездил иногда летом к ней в имение — душевно совершенно отдалился от нее; он вышел в отставку и отдал всего себя литературе.

Сам И. С. считает, что он «вступил на литературное поприще в 1843 г.».

«Около Пасхи 1843 г.—пишет он—в Петербурге произошло событие и само по себе крайне незначительное, и давным-давно поглощенное всеобщим забвением. А именно: появилась небольшая поэма некоего Т. Л., под названием „Параша“. Этот Т. Л. \*) был я“.

---

\*) Тургенев—Лутовинов.

И с этих пор он на всю жизнь становится «писателем» и только писателем.

Вскоре после выхода в свет «Параши», Тургенев познакомился с Белинским. Они сразу подружились. Тургенев до самой смерти сохранил благодарную память о нем, признавая его влияние на всю дальнейшую деятельность его. Вокруг Белинского группировались тогда молодые писатели: Панаев, Анненков, Языков; здесь же бывал прежде Бакунин и Катков; бывал и Герцен. Несколько позже к ним присоединились: К. Д. Кавелин, Некрасов, И. А. Гончаров, Григорьев и др. Тургенев сразу стал между ними своим. Он явился уже готовым человеком, с широким европейским образованием, с основательным философским мировоззрением и совершенно исключительным знанием западной литературы.

В их собраниях шли оживленные разговоры, споры, и в продолжительных беседах вырабатывались основы „разумного мирозерцания“.

Напряженная работа мысли и совести, совершавшаяся в подобных беседах, отличительная черта, так называемых „людей сороковых годов“.

Эти сороковые годы сыграли громадную роль в истории нашей интеллигенции“. В 20-х и 30-х годах люди мыслящие принадлежали почти исключительно к родовитому дворянству, были каким-то обособленным классом. В 40-х годах центр умственного движения перемещается в средний класс, университетская скамья стирает перегородки; образование, философское направление мысли, широта и разнообразие умственных интересов спаивает их в одну семью, так называемую, «интеллигенцию». И кажется, никогда, ни в одну эпоху эта интеллигенция не была так оторвана от живой жизни России, как в это время, никогда не было большого разногласия между требованиями этих людей и тяжелой действительностью. Образованное меньшинство усвоило себе европейские взгляды, имело определенный идеал общественного и государственного устройства, а



жизнь кругом шла своим путем, путем пошлости, рабства и беспросветного мрака. Что было делать человеку, мучительно сознающему свои обязанности гражданина, как согласовать практическую деятельность с запросами высшей правды?

И так называемые «люди сороковых годов» невольно жили в стороне от практики жизни, но тем острее стала работа мысли, тем шире сделался круг умственных интересов, тем яснее обнаружались философские стремления. Отвлеченные вопросы стояли на первом месте. Людей сороковых годов упрекали в том, что они много говорили, но мало делали. Но для них все «дело» сосредоточилось в «слове»: распространение гуманных идей, выработка философского миросозерцания, борьба с устарелыми дикими понятиями, огонь любви к истине—разве это не дело? Русская жизнь, пропитанная деспотизмом, пошлостью и подлостью, не давала им никакого пути для того, чтобы внести в нее свои идеалы какой-нибудь практической деятельностью. Тем нужнее, тем благотворнее были их «слова», нарушившие ленивый сон сытых, будившие дремавшие силы молодежи, звавшие их к тому, что подводилось под формулу: истина, добро и красота. В этом их громадное значение, гораздо более важное, чем всякая служба, которую они могли бы нести.

Огромное и благотворное влияние идеалистических философских систем, художественных и научных ценностей запада, переработанных русскими глубокими умами и блестящими дарованиями, как Грановский, Герцен, Белинский—дали громадное значение сороковым годам.

Когда И. С. Тургенев попадал из этой среды в родное Спасское-Лутвиново — он меньше, чем прежде, мог мириться со взглядами матери и с ее отношениям к „людям“, т. е. ее дворовым служащим. Немудрено, что его влекло назад, в Петербург. Особенно привязался он к Белинскому, имевшему такое исключительное значение, про-

несшемуся яркой звездой по мрачному небу России. Тургенев, по собственному признанию, полюбил его искренно и горячо; Белинский благоволил к нему.

„Когда я познакомился с ним,—вспоминает Тургенев,—его мучили *сомнения*...» Как это характерно для той эпохи! Белинский—всеми признанный Белинский, пылкий, неистовый Белинский, мучается сомнениями. „Они именно мучили его, лишали сна, пищи, неотступно жгли и грызли его; он не позволял себе забытья и не знал усталости; он дню и ночью бился над разрешением вопросов, которые сам задавал себе. Бывало, как только я приду к нему,—вспоминал Тургенев,—он, исхудалый, больной (с ним сделалось тогда воспаление легких и чуть не унесло его в могилу), тотчас вставал с дивана и едва слышным голосом, беспрестанно кашляя, с пульсом, бившим сто раз в минуту, с неровным румянцем на щеках, начнет прерванную накануне беседу. Искренность его действовала на меня, его огонь сообщался и мне, важность предмета меня увлекала»...

Никто не имел на Тургенева такого влияния, как Белинский. И его тянуло к этому страстно-искреннему, целомудренно-правдивому человеку.

...«Тяжелые тогда стояли времена,—вспоминает Тургенев. Утром, быть может, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; может быть, тебе даже пришлось съездить к цензору и, представив напрасные унижительные оправдания, объяснения, выслушать его безапелляционный, часто насмешливый приговор... Бросишь вокруг себя мысленный взор: взяточничество процветает, крепостное право стоит, как скала, казарма на первом плане, суда нет, носят слухи о закрытии университетов... Поездки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит над всем, так называемым, ученым литературным ведомством, а тут еще шипят и расползаются доносы; между молодежью—ни общей связи, ни общих интересов, страх и приниженность



во всех, хоть рукой махни! Ну, вот и придешь на квартиру Белинского, придет другой, третий приятель, затеется разговор—и легче станет; предметы разговоров были большей частью нецензурного (в тогдашнем смысле) свойства, но собственно политических прений не происходило, бесполезность их слишком была в глаза всякому. Общий колорит наших бесед был философски-литературный, критическо-эстетический и, пожалуй, социальный, редко исторический“.

При тогдашних официальных, житейских и цензурных условиях, невозможно было действовать смело и свободно. Белинский едва мог устоять против бури угроз и доносов; признавая, что в развитии каждого народа литературная эпоха предшествует другим, что, не пережив и не преодолев ее, нельзя двигаться вперед, он свои политические и социальные убеждения „определительно резкие“, тот огонь, который никогда не угасал в нем—должен был прикрывать литературными покровами.

Тургенева сроднили с Белинским, главным образом, и его западнические убеждения. И у него, как у Белинского, был определенный идеал, хотя и до сих пор он именуется различно: „наукой, прогрессом, гуманностью, цивилизацией—западом, наконец; люди благонамеренные употребляют даже слово *революция*... Белинский посвятил всего себя служению этому идеалу. Тургенев, так же как Белинский, был западником и—по его определению—не потому только, что признавал превосходство западной науки, западного искусства, западного общественного строя, но и потому, что был глубоко убежден в необходимости восприятия Россией всего выработанного западом—для развития собственных ее сил, собственного ее значения... Принимать результаты западной жизни, применять их к нашей, соображаясь с особенностями природы, истории, климата—впрочем, относиться и к ним свободно, критически—вот что исповедовали они оба со всей искренностью молодых

сердец. Тургенев, так же как Белинский—был вполне русский человек; благо родины, ее величие, ее слава были несказанно дороги ему; и также пламенно, как Белинский, любил он просвещение и свободу, в которых видел единственный путь к счастью России.

Как в Белинском его западнические убеждения „ни на волос не ослабили в нем его понимания, его чутья всего русского, не изменили той русской струи, которая была во всем его существе, так и в Тургеневе русский человек с его глубокой русской сутью—был сильнее всего. И это очень скоро и ярко выразилось в его произведениях.

---

После поэмы „Параша“, одобренной Белинским—Тургенев написал еще несколько вещей стихами. Но и его друг Белинский не поощрял их, и сам Тургенев не придавал им большого значения. Рядом с поэмами он написал несколько повестей (Андрей Колосов, Бреттер, Три портрета), но все это не удовлетворяло его, и он, одно время, возымел твердое намерение вовсе оставить литературу. Кроме того, его неудержимо потянуло на запад.

Нелады с матерью, невозможность изменить жизнь в родном имении, полное бессилие принять какое-нибудь активное участие в жизни родины погнали его за границу. «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел,—говорит Тургенев в своих воспоминаниях,—для этого у меня, вероятно, не доставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был—крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца—с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва, и не я один дал ее



себе тогда. Я и на запад ушел, чтобы лучше ее исполнить... «Записки охотника» были написаны мною за границей, некоторые из них—в тяжелые минуты раздумья о том, вернуться ли мне на родину или нет».

---

В 1845 году Иван Сергеевич познакомился в Петербурге с знаменитой певицей Полиной Виардо-Гарсиа, выступавшей на оперной сцене императорского театра. Об ее изумительной музыкальности, об ее очаровательном голосе имеются свидетельства современников, а ее портреты дают понятие об ее внешности. Она не была красива в общепринятом смысле слова: крупные черты, толстые губы; но глубокое выражение прекрасных глаз и энергичный подбородок заставляют верить, что она могла подчинять своему влиянию людей, что и было с Тургеневым. С первого своего знакомства—он на всю жизнь отдал ей себя.

«Эта привязанность,—писал он одному из друзей,—срослась с моей жизнью, и без нее я был бы, как без воздуха». Он не пропускал ни одного спектакля, ни одного концерта с участием Виардо, слушать ее было для него настоящим счастьем. «Когда слышишь ее—говорил он—то по спине проходит холодная дрожь и плачешь *слезами восторга*». Его дружеские письма наполнены восторженными сообщениями о вокальных успехах «этой чудной женщины»... Есть свидетельства, что уже, когда Виардо постарела, и голос ее потерял красоту и звучность—Тургенев все-таки был под его обаянием и приходил в искренний восторг. „Глаза горели, пряди волос падали в беспорядке на его лоб»...

Ив. Сергеевич, под обаянием Виардо, решил оставить Россию. Новая привязанность вытеснила из его сердца какую-то детскую любовь к матери, которой он в конце концов все прощал и, прощая, страдал невыносимо.

По воспоминаниям Житовой, воспитанницы Варвары Петровны, можно видеть, каким нежным, любящим сыном был Иван Сергеевич, как он *хотѣл* сохранить эту любовь в себе.

«Мать моя,—говорил он—была женщиной вполне вливавшейся в форму XVIII и первых десятилетий XIX века»... В крепостном она не видела человека. Задачей Ив. Сергеевича, с самых юных лет, было пробуждать в матери человеческое чувство к «человеку». И под его непосредственным влиянием—она становилась мягче, и, когда он жил в Спасском, «все отдыхало». Когда его ждали—все крестились, все радовались... «Наш Ангел едет! Теперь у нас все будет хорошо... „Около него ничто лживое и злое не имело места. Настолько обаятелен он был, настолько сам хорош, что его нравственная красота разливалась на все окружающее его», пишет воспитанница В. П. Житнова.

При нем властолюбивая, необузданная Варвара Петровна затихала; внимание и заботы сына о ней трогали ее до слез, но до своих «прав» она его не допускала, и ничто не могло сломить ее железную волю. Сколько раз, например (по свидетельству Житовой), просил ее Иван Сергеевич дать «вольную» крепостному доктору Порфирию—она не соглашалась.

— Сними ты с него это ярмо! Дай ты ему сознание того, что он—человек, не раб, не вещь, которую ты можешь по своему произволу, по одному капризу упечь, куда и когда захочешь!

Варвара Петровна была непреклонна. Кончалось спором, ссорой. Иван Сергеевич сознавал, что юридически он бессилен, у него не было никаких прав, так как все принадлежало Варваре Петровне, и уезжал... Но это не разрешало вопроса.

И чем старше становился он, чем глубже проникал в его сердце праведный гнев против насилия—тем невыносимее для него становились отношения с любимой матерью. Новая любовь помогла ему порвать их, снять со



своей души оковы и уехать из России, где все его угнетало и приводило в негодование, и где он не мог работать, как бы хотел. И в 1847 году он совсем переехал в Париж.

Этот от'езд и, главное, увлечение иностранкой — «проклятой цыганкой», как называла Варвара Петровна г-жу Виардо—повели к окончательному разрыву И. С—ча с матерью. Она заявила, что не даст ему ни гроша и до самой смерти выполняла эту угрозу. И. С—чу в первое время приходилось очень тяжело: литературный труд оплачивался скудно, а других источников дохода у Тургенева не было. Целыми месяцами он голодал и, чтобы не показать этого друзьям—он уединялся в пустую дачу Виардо или в замок Жорж-Занд и там питался, чем попало, и работал усиленно. Главное—не показать своей бедности, не вызвать жалости. Он писал о России и для России, не переставая думать о Виардо и восхищаться ею. Все интересы этой семьи стали ему близки и дороги; он искренно подружился с самим Виардо и ценил его, как художественного критика, тонкого и образованного.

Пока Тургенев жил так, на «краюшке чужого гнезда», как говорил он,—мать одиноко доживала свой век в своем Спасском. Несколько раз она, смилив свою гордыню, протягивала руку, пытаясь примириться с сыном.

«Гнев матери—дым;—писала она—маленький ветерок—и пронесло его,,»

Но и такие трогательные слова не могли вернуть ей сына. Очевидно, слишком наболела его душа, слишком намучилась совесть, чтобы итти на примирение с человеком, так глубоко возмущавшим в Тургеневе все, что в нем было дорогого: любовь к родине, к народу, к свободе, к справедливости, к правде...

И только, когда Иван Сергеевич получил известие, что мать при смерти—он поехал к ней. Но уже не застал ее живою. Предсмертные строки ее французского дневника сказали ему:

«Дети! Простите меня! И Ты, Господь, прости меня:— гордыня, этот смертный грех, была всегда моим прегрешением».

Конечно, Иван Сергеевич все простил ей. Простил, но не забыл и художественными строками о жестокостях рабовладельцев и безмолвных страданиях раба—искупил грех матери перед русским крестьянином.

---

Имение Варвары Петровны досталось Тургеневу пополам с братом Николаем Сергеевичем. Он, сейчас же после смерти матери, приступил к облегчению участи доставшихся ему крестьян и перевел с барщины на оброк всех пожелавших этого. Но особенное внимание обратил он на дворовых, принявших так много страданий от Варвары Петровны. Он всех их отпустил на волю, выдал всем награды, некоторым из них нарезал земли, подарил лесу.

А почему же он, человек давший Аннибаловскую клятву бороться с крепостным правом, видевший с детства все ужасы этого «права», не дал сейчас же полной свободы всем своим крестьянам?»

Этот вопрос мучил очень многих друзей и почитателей Тургенева. В. И. Семевский, известный автор книги «Крестьянский вопрос в России», высказывает убеждение, что Тургенев не освободил своих крестьян только потому, что «предполагал, что без его защиты они сделаются добычею алчности местной администрации. Не даром эту мысль он влагает в уста одного из героев его рассказа: «Хорь и Калиныч».

...«Попал Хорь в вольные люди!—кто без бороды живет, тот Хорю и набольший»...

Кроме того, на Тургенева не мог не оказать впечатления результат освобождения крестьян известным эмигрантом, поэтом Огаревым. Он еще в сороковых годах



отпустил своих крепостных на волю и поставил их в очень трудное положение. Благополучие государственных крестьян было в то время ничем не лучше крепостных, и личное участие в их судьбе человека сочувствующего им—могло быть для них благотворнее формальной свободы. И по свидетельству современников и соседей—крестьянам И. С-ча жилось лучше, чем многим освобожденным от крепостной зависимости. Крестьяне—даже по свидетельству враждебного Т-ву журнала Каткова (Русский Вестник. 1875 г., I), называли его „добрый барин“, «хороший барин», «ба-тюшка» или «наш слепой», потому что Ив. Сер. всегда ходил в пенснэ. Известен рассказ его друга В. П. Боткина: „Едет он (Тургенев) однажды в своем экипаже на своих лошадях из Спасского к соседу и спешит. На козлах у него сидит *свой* кучер и *свой* лакей, крепостные. Ехали, ехали, долго-ли, коротко-ли, вдруг перестали «спешить»,—стали. Иван Сергеевич думает—нужно оправить сбрую. Нет! никто не слезает к лошадям, или там, по надобности. Подождал он, подождал, смотрит—играют в карты. Да! Кучер и лакей играют в карты... Что же он? Прикрикнул? Или хоть сказал что-нибудь? Нет, он забился в угол коляски и сидит, молчит. А те играют. Когда кончили, тогда и поехали»...

Этот рассказ очень характерен не только для данного случая, но вообще для определения мягкой, деликатной натуры Ивана Сергеевича. То, что он сказал о своем друге Грановском—всецело применимо к нему самому: «говоря нам о добре и нравственности, о человеческом достоинстве и чести, он собственной жизнью подтверждал истину своих слов».

---

Уезжая за границу—может быть, навсегда—Тургенев решил бросить литературу. Недовольство собою, резкие отзывы критики, труднейшая борьба с цензурными усло-

виями и самодурами-цензорами вызвали в нем это решение.

Но, когда редакторы „Современника“, Некрасов и Панаев, упросили его дать хоть что-нибудь «для первой книжки журнала—Тургенев отыскал в своем столе какой-то «пустяк» и отдал его в печать. Это был рассказ «Хорь и Калиныч». Редактор—как и автор—не придал ему никакого значения и приписал под заглавием слова: «Из записок охотника», чтобы публика не могла пред'являть никаких особых требований к этому пустячку.

Тургенев был уже за границей, когда «Хорь» появился в печати. Редакция поместила его не в первом отделе журнала, а отвела ему скромное место в «Смеси». Но и здесь его не только заметили, но и отметили, как явление в русской литературе. Восторженные отзывы критики, живой интерес к автору в читающей публике—окрылили молодого писателя, и он с радостью вернулся к литературе.

С этого времени начинается слава Тургенева, как писателя, и он по праву сразу занял одно из первых мест не только в родной, но и в мировой литературе.

Он, продолжая жить за границей, бодро и энергично работает и присылает в русские журналы очерк за очерком из народной и помещичьей жизни. И оторванность от русской действительности несколько не мешает ему. Он с детства был так пропитан Россией, самой подлинной Россией, русским небом и русской землей, что не даром сказал: „нас хоть в семи водах мой—нашей русской сути из нас не вывести“.

Он живет далеко, но ему близка и русская печаль, и русская красота, точно он дышит русским воздухом и ходит по русской земле.

Старые и малые, бабы и мужики, словно живут вокруг него. Он видит русскую тенистую рощу, речку, тускло-синюющую сквозь туман, водянисто-зеленые луга, узкие дорожки между стенами ржи; слышит и крик лесной птицы и жужжанье пролетевшего жука и едва заметный шум ласкающего ветерка... Он чувствует запах русского леса,





русского полевого цветка „кашки“,—и находит для изображения их такие прекрасные русские слова, из которых слагается могучий русский язык.

---

«Записки охотника» и до сих пор считаются протестом против крепостного права. Но сам Тургенев не соглашался с этим. Несомненно, что они написаны под впечатлением всего того, что видел автор с детства, что так возмущало его на родине, с чем решил бороться до конца. Но писал он их без всякого преднамеренного нагромождения ужасов крепостного права, без навязывания того или другого вывода читателю;—автор рисовал только правду, но достаточно было правдивого и, главное, художественного описания „жизни“ в это жестокое время, чтобы привести в ужас читателя и заставить его сознать свою вину перед народом.

Правда и любовь—вот оружие Тургенева. У него в душе не было ни злобы, ни ненависти. Но то, чего не могла сделать ненависть—сделала любовь. Тургенев любил Россию, любил ее народ, любил «человека», и он сумел простыми, бесхитростными словами показать в забитом, униженном рабе „человека“ и заставить любить, а следовательно, и жалеть его. Он показал в крепостном мужике здравую мудрость, благородное сердце, поэтическую душу, понимание вечной красоты природы, философское отношение к смерти; он нарисовал крестьянских детей чудесными красками, заставил нежно полюбить их; в крестьянской девушке и женщине он, едва ли не первый, отметил способность на самоотречение, простой и ясный склад ума..

Рядом с крестьянами он дал в «Записках охотника» длинный ряд «господ», не подбирая злодеев, описывая то, что он видел, то что создавали и не могли не создать тогдашние условия жизни. Мардарий Аполлонович Стегунов в рассказе „Два помещика“, добродушный балагур и

хлебосол, гостей угощает на славу, ничего не жалеет и в это же время отбирает у девченки кур, зашедших в его сад и при звуке мерных ударов, раздававшихся в направлении конюшни, говорит с «добрейшей» улыбкой: „Чюки-чюки-чок! Чюки-чок!“

— Что это такое?—спросил я с изумлением.

— А там, по моему приказу, шалунишку наказывают... Васю-буфетчика изволите знать?.. Еще с такими большими бакенбардами ходит... Что вы, молодой человек, что вы? ...Что, я злодей, что ли, что вы на меня так устались? Любая да наказует,—вы сами знаете».

Въ другом рассказе—«Ермолай и мельничиха»—помещикъ Зверков, не изверг, а обыкновенный помещик тех времен, говорит о «неблагодарности» народа и рассказывает, как горничная его жены просила разрешения выйти замуж, и как он прогнал ее... А затем, когда сошлась со своим женихом без брака—«приказал ее остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню».

Такие отношения бар к рабам пронизывают все рассказы „Записок охотника“, и тем ярче выступает настоящий виновник возможности этих отношений. „Художественное правосудие“ показало всем этого виновника, если не преступника: этот виновник,—все то же крепостное право. И все чуткие люди, все молодые читатели поняли это и устыдились. Поняли и старые, закоренелые в бесправной своей жизни крепостники и возмутились. Ни одна книга не вызвала так много разноречивых толков и волнений, как «Записки охотника». Жестокая правда и только правда не могла не зажечь сердца людей—одних всеочищающим пламенем добра, других огнем злобы и несправедливости.

Друг Тургенева, П. В. Анненков, рассказывал, что он знал «вельможу очень образованного и гуманного, не мало способствовавшего облегчению уз нашей печати, который до конца своей жизни думал, что успехом своей книги Тургенев обязан французской манере возбуждения



одного сословия против другого»... И. С. Аксаков считал „Записки охотника“ батальным огнем против помещичьего быта“. Тургенев сейчас же был записан в неблагонадежные, и начальство ждало случая, чтобы рассчитаться с ним.

А он тем временем, живя в чужой стране, писал свои рассказы, пропитанные поэзией милой его сердцу русской природы, обвеянные тоскою по русской земле, согретые любовью к человеку. Писал и не подозревал, что вызывают они.

---

Когда, по поводу смерти матери, Тургенев приехал в Россию,—здесь его ждала слава и совершенно определенная известность. Молодежь и, так называемая, интеллигенция преклонялись перед ним; правительство и администрация считали его беспокойным человеком. Долгое пребывание за границей, дружба с эмигрантом и бунтарем Герценом и, наконец, ряд очерков с явно выраженной симпатией к простому народу были достаточным поводом, чтобы на Тургенева было обращено особое внимание.

Иван Сергеевич после смерти матери занялся устройством своих дел, но все время продолжал писать и в начале 1852 года собрал все очерки, входящие в „Записки охотника“ и издал их вместе. Это точно подчеркнуло их значение и возбудило определенное негодование официальных лиц. Московский цензор, князь Львов, был отставлен от должности за то, что пропустил это издание. С автором еще церемонились. Но достаточно было незначительного случая, чтобы начальство свело счеты с беспокойным писателем.

После смерти Гоголя Тургенев написал о нем статью, в которой, казалось бы, не было ни одного слова „нецензурного“. Тургенев отдал дань одному из лучших русских писателей и назвал его «великим». В этом увидели невозможность ее напечатать. Позже объясняли, что председа-

тель цензурного комитета в Петербурге Мусин-Пушкин лично не терпел Гоголя и запрещал даже упоминать его имя.

Вскоре после этого Тургенев получил от своего приятеля (В. П. Боткина) из Москвы письмо с упреками, что в Петербурге никто не отозвался на смерть Гоголя и спрашивал о причине такого „постыдного молчания“. Тургенев написал ему всю правду и в доказательство приложил свою статью. Боткин отдал ее в «Московские Ведомости», где она сейчас же и появилась.

Тургенева обвинили в неповиновении и ослушании и посадили на «с'езжую», а через месяц выслали на жительство в деревню.

Эта ссылка продолжалась до осени 1854 года и была в конце концов благотворна для Тургенева. Она еще более укрепила его, как русского художника, „сблизила его с такими сторонами русского быта, которые—по его собственным словам,—при обыкновенном ходе вещей, вероятно, ускользнули бы от его внимания и выковали в нем настоящего борца за свободу русского крестьянина.

---

Вся вторая половина пятидесятых годов прошла у Ивана Сергеевича—рядом с его основной литературной деятельностью—в работе по вопросу об освобождении крестьян. Веря, что изменения в государственном устройстве могут быть проведены только правительственными реформами, а не поступками отдельных личностей—он неустанно проводил мысль о настоятельной потребности этих реформ. Еще служа в Министерстве Внутренних Дел, он подал записку (на девятнадцати страницах), под заглавием «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине».

Но тогда никто не стал считаться с юным чиновником. Успех «Записок охотника» ободрил Тур-



генева. Ему передали о впечатлении, произведенном его книгой на Александра Второго, бывшего тогда наследником и ставшего потом Царем-Освободителем. Тургенев говорил своему приятелю, французскому писателю Гонкуру (записано в дневнике Гонкура под 2 Марта, 1872 г.), что государь велел сказать ему, что его книга была одним из главных двигателей его решения».

---

Официальная история освобождения крестьян обыкновенно начинается с рескрипта 20-го Ноября 1857 года на имя генерал-губернатора Назимова. Этот рескрипт дошел до И. С—ча одновременно с циркуляром министра внутренних дел от 24 ноября—об открытии губернских комитетов—в декабре 1857 года. Тургенев вспоминал об этом:

«Первые вести о намерении правительства освободить крестьян застали нас в Риме, и мы—под влиянием этих вестей, устроили сходки, на которых обсуждались все стороны жизненного вопроса, произносились речи. Особенным красноречием отличался кн. Черкасский.

Радостная весть взволновала русский кружок. Чувство родины об'единило всех, и Тургенев всей душой отдался мысли о скорейшем проведении в жизнь дела освобождения. Их кружок, в котором тогда были—кн. В. А. Черкасский, В. П. Боткин, гр. Н. Я. Ростовцев—узнавал сейчас же все, что делалось по этому вопросу в Петербурге, благодаря тому, что в то время в Риме жила великая княгиня Елена Павловна, известная своим неустанным горением против крепостного права и отпустившая на волю всех своих крестьян. Она получала все политические известия и русские газеты и делилась с кружком Тургенева сведениями, как смотрят в высших официальных кругах Петербурга на „затею царя“.

В письме к Герцену от 7 Января 1858 г. Тургенев, между прочим, пишет:

«В России готовятся весьма серьезные вещи. Два рескрипта и третий о том же Игнатьеву произвели в нашем дворянстве тревогу неслыханную: под наружной готовностью скрывается самое тупое упорство и страх, и скаредная скупость; но уже теперь назад пойти нельзя».

Даже и сочувственно настроенных помещиков—весть об освобождении застала совершенно врасплох. Не было никаких точных сведений, ни планов, ни описаний, никакой предварительной работы, а главное, не было согласия между собою. Корабль тронулся, и головы закружились. Все растерялись...

Тургенев считал, что выходом из этих затруднений может быть только самое широкое гласное обсуждение вопроса об освобождении крестьян. И он составил записку, где доказывал необходимость основать особый журнал, который не менее любого учреждения мог бы помогать верховной власти в намеченных реформах. В этом журнале должны быть сосредоточены все указы и распоряжения правительства по крестьянскому вопросу, с одной стороны, а с другой—свободное обсуждение всех сторон реформы в виде научных статей или в виде простых справок, корреспонденций и пр. Название журнала должно быть самое простое, напр.: «Хозяйственный Указатель».

Тургенев прочел эту записку в кружке Елены Павловны; она была единогласно одобрена и отправлена в Петербург. Но там ее нашли „рановременной“, и никакого практического действия она не имела.

В это же лето И. С. поехал на родину. Там уже были открыты все губернские комитеты. На другой же день по приезде в Спасское—Иван Сергеевич «поскакал» в Орел в надежде застать там комитетские выборы, но они уже были кончены—«весьма скверно,—пишет И. С.,—как оно и следовало ожидать: благородное дворянство выбрало людей самых озлобленно-отсталых.

Да и крестьяне не обрадовали И. С.—ча. Они отнеслись к реформе тоже не так, как того ждали лучшие



русские люди: пошли разделы, споры, ссоры, драки. Приходилось разбирать враждующие стороны и все-таки никогда не дойти до правды.

Настроение крепостных перед разлукой с господами было беспокойное. Крестьяне требовали с господ хлеб, скот, лес...

И С. писал: «Я это вполне понимаю,—но на первое время в наших местах исчезнут леса, которые все продают теперь с остервенением,—ничего: лес вырастет уже не кое-где и не кое-как, а по указаниям науки».

Что касается устройства своих крестьян, то мы имеем точные указания в письмах самого Тургеньева. В июле 1858 г. он писал Виардо из Спасского: С осени я отпускаю их (крестьян) на оброк, т. е. уступаю им половину земли за ежегодную поземельную подать... Это будет только переходное состояние, в ожидании решения комиссий, так как пока нельзя еще сделать ничего окончательного».

В октябре 1859 г. он писал Аксакову: «С крестьянами я почти везде благополучно размежевался, оставив, разумеется, старое количество земель, переселил их—с их согласия—и с нынешней зимы они все поступают на оброк, по 3 рубля серебром с десятины».

Указ, «великий указ», 19 Февраля, застал Тургенев в Париже. Он ждал его с болезненным нетерпением, просил друзей телеграфировать ему, как только он выйдет. Всеми впечатлениями и новостями по этому вопросу он сейчас же делился с Герценом, который печатал его письма в „Колоколе“.

Наконец свершилось! «Дожили до этого великого дня... Сгораю жаждою быть в России»,—писал Тургенев.

Но в Спасское он попал только к маю. Он увидал, как весь поколебленный быт ходил ходуном, как много надо было еще сделать. Но главное было уже создано, и великое слово «свобода» носилось, как Божий дух над Россией.

Тургенев сейчас же приступил к устройению своих крестьян и уже 21 Мая 1861 г. писал своему другу Я. П. Полонскому: «С моими крестьянами дело пока идет хорошо, потому что я сделал им всевозможные уступки...

В конце концов, эти уступки выразились в том, что он при выкупе везде уступил пятую часть и в главном имении не взял ничего за усадебную землю, что составляло крупную сумму. Надел у его крестьян определился в размере  $3\frac{1}{2}$  десятин на душу.

---

Казалось бы, что после освобождения крестьян Тургенев мог сказать «ныне отпускаеши» и сосредоточить все свои силы на художественной, творческой работе.

Но он видел, живя в деревне, как темна и невежественна народная масса, сколько суеверия и дикости заложено в ней и ясно понимал, *как и чем* надо с этим бороться. Если в «Записках охотника» он изобразил русский народ достойным величайшего блага—свободы, то рядом с этим он показал, и что надо для этого сделать. Мало разбить рабыи цепи—надо научить пользоваться свободой. Мало преклоняться перед долготерпением и всепрощением народа, надо вывести его из тьмы, в которой держали его веками.

Тургенева упрекали, что он показывал в своих народных рассказах не живых мужиков, а созданных его поэтической фантазией, его любвеобильным сердцем—добрых мужичков со всевозможными доблестями. Это неправда. Задача Тургенева, или вернее его заслуга, была в том, что он показал, какой богатый клад лежит в душе русского народа; и всем стало ясно, что народ, в котором так много сердца, ума и даже высшей радости человеческой жизни—поэзии, вполне достоин свободы.

„Неумиряющее значение «Записок охотника», по словам одного критика—состоит в том, что они дают нам



здоровые народные типы, прямо выхваченные из жизни“. И рядом с хорошими свойствами, автор рисует и его недостатки: грубость, жестокость, пьянство...

Особенно резко подчеркнуты в русском народе беспросветная тьма и неразлучное с нею суеверие. В одном из самых лучших своих рассказов («Бежин луг») Тургенев, с добродушным юмором, показывает нам прямо средневековое невежество народа. Деревенский мальчик рассказывает, как у них в деревне ждали „Тришку“—антихриста. Случилось затмение, и напуганный народ принял за антихриста бочара Вавилу, надевшего на голову только что купленный им жбан. Стоило кому-то крикнуть: «Ой, Тришка идет!» как все потеряли голову.

„Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой да через плетень, да в лес; а Кузькин отец Дорофеич вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: „Авось, мол, хоть птицу враг-душегубец пожалеет. Таково-то все переполошились“!..

Рядом с суеверием, поражала и бессознательная жестокость, особенно в отношении жен. Хорь—человек не дурной, но зло издевается над бабами; Ермолай, несмотря на все свои хорошие качества, обходится жестоко и грубо с женой и относится к ней, как к рабе; Бирюк, добрый и справедливый в душе,—груб и жесток до того, что соседние мужики не раз собирались сжить его со свету.

В конце концов, все это происходило от одной и той же причины, и Тургенев без подчеркиваний, даже не называя ее своим именем, необыкновенно ясно показал, в чем она кроется. Всем любящим Россию и ее народ было ясно, что недостаточно дать крестьянам свободу и обеспечить их в материальном отношении—необходимо сейчас же приступить к его нравственному и умственному просвещению. Тургенев, вместе со своим ближайшим другом и учителем Белинским, считал, что освобождение крестьян

должно быть неразрывно связано с распространением среди них образования. Непрестанно следя за ходом крестьянского вопроса из-за границы, Тургенев в 1860 году решил основать в России «Общество для распространения грамотности и первоначального образования», с помощью имущих и развитых классов всего государства. Тургенев сам составил программу этого общества и представил ее на обсуждение русской колонии. Она подробно разбиралась, изменялась, переделывалась и после многих прений, поправок и дополнений принята была комитетом из выборных лиц кружка. Кроме того, Тургенев составил циркуляр, с которым послал проект программы задуманного общества в Россию. Ее нашли не совсем отвечающею «особым условиям» русской жизни. Эти «особые условия» заставили Тургенева отказаться от задуманного им проекта, но он все-таки стал достоянием истории и не мог пройти бесследно.

«Есть факты,—говорит Тургенев в своем проекте,—очевидная полезность которых до того несомненна, что не нуждается ни в каких доказательствах. К таким фактам принадлежит распространение грамотности и элементарных общепользных сведений в России. Новое общество должно было внести в это благое дело могущество единодушных, дружных усилий светосознательной мысли». Обучая грамотности освобожденных от рабства людей—общество должно было помочь освободить их и от другого рабства—рабства невежества. Заводить как можно больше школ, издавать учебные книги и руководства, открывать дешевые кабинеты для чтения,—ставилось основной задачей общества. Далее в проекте говорилось, что необходим строгий контроль гласности, общества, правительства. Перечень предметов обучения, необходимых для освобожденного народа, показывает, как Тургенев относился к нему: грамота, элементарные начертания законодательства русского относительно прав и обязанностей, арифметика, география, естественные науки, технология, земледелие и скотоводство.



вообще хозяйство, в обширном смысле. Издания общества должны отличаться общедоступностью, как по цене, так по содержанию и изложению. «Едва ли следует упоминать,— прибавляет он,—о совершенной неуместности в них всякого прибауточного и сказочного тона,—и тут же написал золотые слова: *«С народом должно обращаться искренно, честно и с полным уважением».*

После неудачи, постигшей его проект, Тургенев не охладил к своей мысли и всю жизнь проповедовал, что самое широкое образование народных масс—неотложная задача правительства, что просвещение народа—священная обязанность русского образованного общества. Сам он завел в своем имении сельскую школу и с тревогою следил, как развивалась она. «Невозможно допустить,—писал он своему управляющему,—чтобы в имени человека, который обязан всем своим значением перу, существовала плохая и неудовлетворительная школа».

Судьба отдельных учеников Спасской школы также интересовала Тургенева. Более способным крестьянским мальчикам он давал возможность дальнейшего образования, назначая им стипендии. Один из его стипендиатов в своих воспоминаниях о Тургеневе приводит свидетельство того, с каким вниманием следил за его образованием Тургенев, разъясняя ему все значение этого блага. Не уставал он повторять это и крестьянской темной массе: „Жалею, что ваши дети мало посещают школу», писал он уже всем большой из-за границы к себе, в деревню, в 1882 году. «Помните, что в наше время *безграмотный человек—то-же, что слепой или безрукий*».

«Нужна образованность, нужно знание,—писал Тургенев. Учение—не только свет, по народной пословице, оно также и свобода... Не поощряйте, ради Бога, у нас на Руси мысли, что можно чего-нибудь добиться без учения. Нет, будь ты хоть семи пядей во лбу, а учись и учись»...

В своих художественных произведениях Тургенев щедро рассыпал эти драгоценные мысли, и они, может быть,

могущественнее всяких проектов, закрепили мысль о необходимости освобождения народа от рабства-невежества.

---

Шестидесятые годы Тургенев почти сплошь жил за границей. Он наезжал в Россию на время и лето обыкновенно проводил у себя, в имении; но его «жизнь», его привязанность и личные радости были вне России.

Живя в Париже, он, вместе с Луи Виардо, переводил на французский язык Пушкина, не переставая бодро писать романы и повести о русской душе, для русских душ.

Литературная работа, писательские волнения, наезды в родное гнездо, семья Виардо—вот чем наполняется теперь жизнь Ивана Сергеевича. С 1868 года он переселяется, вместе с семейством Виардо, в Баден-Баден и живет там до 1870 года. Тургенев очень любил Германию и считал, что ей он был обязан своим философским образованием, своим литературным развитием; дружеские отношения с немецкими писателями давали ему очень много хороших минут... Он одно время решил навсегда поселиться в Бадене и выстроил там себе дом. Нижний этаж был приспособлен для сценических представлений и снабжен всеми необходимыми принадлежностями. Здесь Тургенев, вместе с Виардо и ее ученицами, устраивал представления, писал для них французские пьесы, а иногда и сам участвовал в них. Музыка стала главной потребностью его жизни, и в семье Виардо он истинно наслаждался ею.

Но жизнь творца, жизнь писателя шла своим путем, и Тургенев, несмотря на то, что всецело вошел в жизнь чужой семьи, тесно связал свою судьбу с иностранной жизнью—остается русским писателем и не теряет времени даром. Ни одно общественное явление на родине не проходит мимо него. Он приезжал в Россию не надолго, но в нем—как в зеркале—сейчас же отражались все здоровые и болезненные черты, точно помимо его участия. Он



чутьем истинного художника улавливал все новые течения в русской жизни, постигал их своим глубоким умом и претворял их в художественные картины. Может быть, оттого, что он приезжал к нам из иного мира, от других впечатлений—ему были более заметны все перемены в настроениях, все новые явления, чем тем, кто постоянно жил в России,—как дым в накуренной комнате более заметен свежему человеку, чем тому, кто долго сидел в ней.

Иван Сергеевич привозил за границу свои наблюдения и заметки и там—на известном отдалении—мог спокойнее обрабатывать их.

Так появились его большие романы: «Рудин», «Дворянское Гнездо», «Накануне», «Отцы и дѣти», «Дым». И каждый из них вызывал целую литературу и давал Тургеневу, несмотря на громадный успех,—несказанные волнения. Непонимание искреннее, злонамеренная клевета, навязыванье автору совершенно чуждых ему стремлений, а главное, упреки в том, что он живет вне родины и не знает того, о чем пишет—мучили Тургенева, и он, признанный великий писатель, страдал невыносимо и решал бросить свое славное дело.

Он знал, что каждое произведение его ожидается с горячим нетерпением, читается с жадностью, имена его героев становятся нарицательными, некоторые выражения или отдельные слова усваиваются и входят в разговор. И он считался с этим, гораздо меньше, чем с нападками критики, навязывавшей ему свои мысли. Особенно тяжело было ему непонимание его любимого романа «Отцы и дети». Тургенев, может быть, благодаря именно тому, что жил вдали от родины, раньше других подметил, какая пропасть создавалась между двумя поколениями, как быстро бегущие волны жизни уносили детей, а отцы оставались на неподвижном берегу. Тургенев совершенно беспристрастно написал своею кистью, «свободной и широкой», картину разлада отживающего поколения крепостников и нового еще не установившегося, но рвущегося вперед поколе-

ния созидателей новой жизни. Ни одна книга не вызывала столько толкований и споров, похвал и брани, сочувствия и ненависти. С Базаровым считались, как с реальным существом. Тургенева обвиняли в клевете на молодое поколение. Это ему было больнее всего. Он любил своего Базарова, он видел в нем надежду молодой России, но беспристрастность настоящего художника, может быть, помимо его воли, не пощадила ни его, ни отцов, и, если автор признал в Базарове волю и силу, идущую на смену безвольному и бессильному поколению отцов—он не мог не показать его несостоятельности перед народом, перед громадными задачами русской действительности.

Несмотря на то, что успех «Отцов и детей» превзошел все, что до тех пор было видано в литературном мире—ни один роман не вызвал так много нападений на автора. Его обвинили со всех сторон: одни за сочувствие нигилизму, за идеализацию типа Базарова, другие за клевету на молодежь и «измену делу свободы». Герцен, друг Тургенева, нежно любимый им, оскорбил его резким отзывом; это послужило поводом к разрыву их дружбы, а русские студенты в Гейдельберге, этого центра русской свободной общественной мысли, потребовали от него объяснений относительно цели и смысла его романа. И Тургенев принял их требование. Это единственный пример в литературных нравах. Роль Тургенева, в данном случае, заслуживает всяческого сочувствия. В письменном объяснении он говорит, что хотел сделать из Базарова трагическое лицо—«тут было не до нежностей. Он честен, правдив и демократ до конца ногтей»...

«Если он называется нигилистом, то надо читать: революционером».

«Вся моя повесть,—писал он—подчеркивая каждое слово, направлена против дворянства, как передового класса». Ему хотелось нарисовать своих героев, как представителей общественных течений, которые роковым образом должны столкнуться, как добры и симпатичны ни были



сами люди, участвующие в борьбе... Он взял и отцов из лучших дворян, чтобы доказать их несостоятельность. „Если,—писал Тургенев,—читатель не полюбит Базарова со всей его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и резкостью—я виноват и не достиг своей цели... Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная и все-таки обреченная на гибель, потому что она все-таки стоит еще в преддверии будущего“.

Горечь от непонимания его молодежью, обида на друзей, бессознательно оклеветавших его, сомнение в собственных силах и злобные нападки критики мучительно тяжело подействовали на Тургенева, и он окончательно решил уйти из литературы, что с такою грустью вылилось у него в лирическом отрывке «Довольно». Но потребность творчества владела им властнее всяких обид, и он, к счастью, скоро снова вернулся к писательству. Следующий его роман «Дым»—написан в самых мрачных тонах: дым! Все людское—дым, особенно, все русское—дым! Отрывки из этого романа автор читал в феврале 1867 года в Петербурге, на литературном вечере, в пользу литературного фонда. Зал был переполнен. Тургенев появлялся в первый раз перед русской публикой после выхода «Отцов и детей». Среди рукоплесканий слышались свистки. Очевидно, ему еще не простили Базарова.

«Дым» вызвал также много толков и упреков автору в непонимании русской жизни, но они уже не так волновали Тургенева, и мысль об оставлении литературной деятельности уже не приходила ему.

---

Настал 1870 год. Грянула франко-прусская война. Пришлось расстаться с Баденом, с немецкими друзьями и, вместе с семейством Виардо, опять переселиться в Париж. Для Тургенева настала новая полоса в его личной жизни.

Симпатии к немцам вытесняются основательным знакомством с новой французской литературой; живая связь с писателями и политическими деятелями Франции побеждает его, и он становится не только другом французских писателей, как Флобер, Ожье, Додэ и братья Гонкуры, но и покровителем Золя и Мопассана. Он делается «своим» между ними и занимает место не только друга, но и учителя. Сами французские романисты новой школы заявляли, что Тургенев имел на них огромное влияние, и, что благодаря ему, русский роман для них был своего рода открытием. Он учил французов относиться проще к форме, бросить ложные приемы, изображать жизнь и только жизнь. Он боролся с ложью, лицемерием, сентиментальностью французских писателей и проповедывал правду „Описывайте правду просто и поэтично,—говорил он,—идеальное проявится само собою“.

В Париже Тургенев опять поселился, вместе с Виардо, в двух небольших комнатках над их квартирой, совершенно не заботясь о собственных удобствах, весь преданный своему творчеству, личной жизни и музыкальным впечатлениям. Дом Полины Виардо сделался тогда центром музыкального мира, и Тургенев, отдыхая от работы—наслаждался всем, что мог тогда дать Париж в музыкальном смысле. А для него это имело громадное значение: музыка была его страстью, а влияние звуков в его жизни уже с детства было совершенно исключительное.

Новые веяния в русской жизни среди нашей молодежи в 70 годах, революционное движение, хождение в народ и социалистическая пропаганда дали Тургеневу материал для нового общественного романа. Близость с эмигрантами давала ему много личных наблюдений; друзья присылали ему документы, отчеты политических процессов, и Тургенев написал роман „Новь“.

— Я знаю, что роман мой не понравится,—говорил И. С. друзьям,—будет та же история, что с романом „Отцы и дети“... Все меня бранить будут, никто мне не поверит;



придется ждать молча, до тех пор, пока не убедятся, что я писал только то, что видел, и писал так, как понял»...

А своему старому другу Полонскому он говорил: «Если меня за «Отцов и детей» били палками,—за «Новь», конечно, будут лупить бревнами и точно также с обеих сторон». И действительно, роман вызвал опять целую бурю; самые разнообразные обвинения снова посыпались на Тургенева, и он умолк на целых три года! В печати целых три года не появилось ни одной строчки Тургенева!

Но в это время—он, насколько возможно, был вознагражден европейской литературной средой: в 1879 году, на литературном конгрессе в Париже Тургенев был единогласно избран представителями всех европейских литератур председателем одного из отделений конгресса; в начале 1879 года—Оксфордский университет поднес Тургеневу почетный диплом доктора обычного права, как писателю, доказавшему своими произведениями основательное знание нравов и обычаев русского народа.

В это время на родине тоже произошла перемена в отношении к Ивану Сергеевичу: жизнь показала, что автор «Нови» писал, как всегда правду, одну только правду. И когда, в конце февраля 1879 года, Тургенев приехал в Россию, ему был оказан такой горячий, такой искренний прием, какого он никогда еще не встречал в России. Горячие приветствия молодежи, восторженная встреча публикой, показали ему, что все старые счета брошены, все недоразумения забыты. Это раздражало врагов Тургенева; появились злобные выходки против него; из так называемого консервативного лагеря раздалось обвинение в том, что он «позорит свои седины и кувыркается перед нигилистами, ради популярности и их потехи».

На эту выходку Тургенев отвечал длинным письмом, очень ценным, как автобиографическое свидетельство...

»Овации мне были приятны и дороги, именно потому, что *не я шел к молодому поколению... но потому, что оно шло ко мне.* Они мне были дороги, эти овации, как

доказательство проявившегося сочувствия к тем убеждениям, которым я всегда был верен, и которые громко высказывал в самых речах моих, обращенных к людям, которым угодно было меня чувствовать».

«С какой же стати мне было лгать и заискивать в них, когда они сами мне протягивали руки и верили мне».

Эта «вера» сняла все наветы с Тургенева. Молодежь знала его отношение к революции и не ждала от него, в этом смысле, никакого содействия; но она верила, что все, стремящееся к полному освобождению личности, к полной свободе духа, к торжеству истины, справедливости и красоты, так же близко Ивану Сергеевичу, как оно было близко тогда лучшей части русской интеллигенции. Вот почему приезд Тургенева 1879 году был сплошным торжеством для него.

В последний раз Тургенев приезжал в Россию в 1881 г. В Москве открывался памятник Пушкину, и Иван Сергеевич, несмотря на мучительную болезнь, терзавшую его уже многие годы, приехал на это торжество, так как считал, что вся литература должна единодушно сгруппироваться во имя Пушкина.

Каждое появление Тургенева—в университете, в собраниях или на улице—вызывало крики восторга и благодарности. Он с первого же дня стал центром праздника, и точно все обаяние Пушкина, как бы по наследству, передалось Тургеневу, и он принимал все с сдержанным достоинством знающего свое место наследника.

Когда молодежь поднесла ему венок (на вечере в Дворянском Собрании, в память Пушкина), он, ни минуты не колеблясь, положил его у бюста поэта.

Когда Достоевский, говоря свою знаменитую речь, хотел назвать автора Лизы (из «Дворянского Гнезда»), сопоставляя ее с Пушкинской Татьяной, весь зал встал и загремел рукоплесканиями, в честь Тургенева. Он не хотел принимать этих оваций на себя, и его насильно вывели на край эстрады.



Само собою сложилось так, что хозяином на Пушкинских празднествах и представителем русской литературы стал Тургенев. Европейские собраты присылали свои приветствия на его имя. Так, были получены письма от Ауэрбаха, Тенниссона, Виктора Гюго.

Московский университет в торжественном заседании в день открытия памятника Пушкину избрал Тургенева в число своих почетных членов; в собрании общества любителей российской словесности и на литературных вечерах Тургенев являлся первым лицом.

В своей речи о Пушкине—высшем моменте Тургеневского триумфа,—он сказал: «Самая сущность свойства его (Пушкина) поэзии совпадает со свойствами и сущностью нашего народа. Не говоря уже о мужественной прелести, силе и ясности его языка, эта прямодушная правда, отсутствие лжи и фразы, простота, эта откровенность и честность ощущений, все эти хорошие черты хороших русских людей поражают в творениях Пушкина не одних нас, его соотечественников, но и тех из иностранцев, которым он стал доступен».

Его речь вызвала бурный взрыв рукоплесканий и восторженных криков. Все это было, конечно, очень приятно Тургеневу, оживило его, вернуло веру в себя и в свое дело. Вслед за этими впечатлениями он писал: «Я теперь снова намерен работать. Сначала кончу «Отрывки из воспоминаний своих и чужих»,—а затем примусь за другую небольшую, но, по содержанию, драматическую вещь, которая вертится у меня в голове. Литературная жилка во мне зашевелилась. Неужели из старого засохшего дерева пойдут новые листья и даже ветви?».

И он уехал из России, счастливый своей близостью к ней, наполненный радостью слияния со своими читателями и молодежью. Он обещал через год вернуться в Москву. Но мучительный недуг уже властно держал его в своих тисках. Врачи не знали, как определить его. Страдания особенно обострились в 1882 году. Он продолжал

работать, боролся с мучениями, как мог, и даже написал блестящую повесть „Клара Милич“ и часть знаменитых стихотворений в прозе. Весной его потянуло в Россию, в родное Спасское, но не было сил двинуться, и он написал Полонским, проводившим там каждое лето, следующие трогательные строки:

„Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, *родине поклонитесь*, которую я, вероятно, никогда не увижу“. Позже он писал им, что махнул рукою на всякую возможность выздороветь, что старается работать и не думать о болезни, хотя при таких обстоятельствах и всякая мысль о путешествии, о переезде в Россию—является несбыточной фантазией. Впрочем, я и с этим примирился: „Буду жить, покелево Богу угодно“, как выражаются мужики“.

... „Я примирился со своим положением,—пишет он позже. Стало быть, спросите вы меня, вы не питаете никакой надежды вернуться на родину? Никакой, ни малейшей, так же как на выздоровление; но, конечно, я бы ни одной минуты лишней не остался здесь. Но ни рассчитывать на это, ни даже думать об этом мне не приходится...“

... Но повторяю, я нисколько не унываю. Пока я не отказался от всякой надежды, было хуже; я теперь—ничего. Мне 64 года; пожил в свое удовольствие, а теперь надо и честь знать. И работать теперь могу;—именно с тех пор, как я перестал думать о будущем».

Вся зима прошла в борьбе с этим недугом; иногда страдания побеждали Тургенева, и он пишет: „болезнь не только ослабевает, она усиливается. Страдания постоянные, невыносимые, надежды никакой! Жажда смерти все растет, и мне остается просить вас, чтобы и вы, с своей стороны, пожелали осуществления желания вашего друга.“

Как только боли утихали, Тургенев опять отдавался радостям творчества и еще за два месяца до смерти продиктовал по-французски новое свое произведение—„По-



жар на море“. Один из друзей Тургенева, бывший у него незадолго до его смерти, слышал от него много чудных фантастических сказок, навеянных грезами во время болезни; очевидно, его богиня-фантазия, «в венке из ландышей на разбросанных кудрях, с цветным царским жезлом в руках», витала над ним до самого конца.

Несмотря на сплошные страдания, любовь к литературе и родному слову давали ему силу, и он дрожащею рукою, карандашом написал свое *последнее* письмо, волнуясь за русскую литературу. Это было известное письмо к Л. Н. Толстому, который решил тогда бросить писать романы и повести и стал «учителем жизни»: «Я был и емь на смертном одре,—писал Тургенев—пишу собственно, чтобы сказать, как я был рад быть вашим современником и выразить вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности. Ведь этот ваш дар оттуда, откуда все другое. Как был бы я счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на вас подействует! Я же человек конченный. Друг мой! великий писатель земли русской—внемлите моей просьбе! Не могу больше, устал“!

Этот последний вопль умирающего, направленный на то, чем была наполнена вся жизнь Ивана Сергеевича—на литературу—очень знаменателен для него. Еще в 1863 г. он заявил: «шесть лет, проведенных мною в России, окончательно решили мою судьбу: я *сделался писателем и больше ничем*. Я понял, что я призван, по мере сил своих, действовать гласно, действовать словом и образами, и я постоянно трудился на этом поприще, быть может, не без пользы»...

После письма к Толстому Тургенев уже не брался за перо. Страшная болезнь, оказавшаяся раком спинного мозга, завладела им всецело.

Он сознавал, что умирает, что рядом с ним стоит „бледная, немая, холодная, всепожирающая, вечная ночь“—как он когда-то определил смерть. Он говорил о ней по-

стоянно и уже не пытался бежать от нее, как он это описал в одном из «Стихотворений в прозе» где его преследует старуха—та судьба, от которой не уйти человеку.

„Не уйти! Не уйти!—Что за сумашествие... Надо попытаться“...

И он пытался. Но постоянно слышал тот же шелест сзади и видел грозное пятно могилы впереди...

... „И вдруг я вижу: то пятно, что чернело вдаль, плывет, ползет само ко мне...

«Боже! Я оглядываюсь назад... старуха смотрит прямо на меня;—беззубый рот искривлен усмешкой...

— Не уйдешь».

Это «не уйдешь»! эта неотвратимость смерти в продолжение долгих месяцев держала Тургенева в своих костлявых пальцах. И он сознательно ждал, когда она налетит, „махнет своим холодным, широким крылом... И конец!».

Этот конец наступил 22 августа 1882 года, в Буживале, под Парижем, на даче Тургенева.

В России давно уже следили с тревожным вниманием за ходом болезни Тургенева; мрачные известия подготовили ожидания роковой развязки. И все-таки весть о смерти Ивана Сергеевича потрясла русского читателя и заставила дрогнуть его сердце. Отовсюду, из всех уголков громадной России, понеслись заявления искренней печали, глубокой скорби; все почувствовали, *чем* был Тургенев для России. Все, кому была дорога родная литература, все, кто понимал служение Тургенева свету, правде и свободе, откликнулся на горестную весть. И не одна Россия, но и весь образованный мир признал незаменимость этой утраты.

Через два дня после смерти, тело Тургенева было перевезено из Буживаля в Париж. И все главные представители французской литературы, науки, искусства, пришли в маленькую русскую церковь поклониться праху великого



русского писателя. Знаменитый Эрнест Ренан в своей речи, при проводах Тургенева в Россию, сказал: ... «Ни один человек не воплощал в себе так полно целой народности.. Счастлива та народность, которая в самых начатках своей сознательной жизни могла быть представлена в таких образах, наивных и глубокомысленных, реальных и мистических... Когда будущее покажет нам все те неожиданности, которые проявит нам удивительный славянский гений, с его пылкой верой, с его глубоким чутьем, с его особыми воззрениями на жизнь и жизнь с его жаждой идеала,—тогда картины Тургенева будут бесценным документом»... «Тургенев принадлежал к одному племени, но он принадлежит всему человечеству, в силу высшей философии... Эта философия соединялась в нем с кротостью, с любовью к жизни, с состраданием к живым существам, в особенности, к несчастным жертвам. Он горячо любил это бедное человечество, он сочувствовал его стремлению к добру и истине».

Возвращение Тургенева на дорогую ему родину было сплошным выражением преклонения перед почившим писателем. По дороге, начиная от Вержболово—служились панихиды, и тысячи людей приходили безмолвно поклониться его праху.

27-го Сентября тело Тургенева прибыло в Петербург, где в тот же день состоялось погребение. Город взял все издержки по похоронам на себя; кроме того, Дума постановила открыть, в память покойного, два народных училища его имени и назначила капитал на стипендию в петербургском университете,—где он сам окончил курс.

На похоронах были сотни тысяч народа. Ничего подобного еще Петербург не видывал. В процессии участвовало около двухсот депутатов с венками: от ученых учреждений и обществ, от всех журналов, от учебных заведений, от многих городов... На протяжении целых двух верст несли эти венки, и народ, стоявший вдоль всего пути

от вокзала до Волкова кладбища, может быть, содрогнулся, поняв, какого друга потерял он, и горячо почувствовал признательность к художнику, который своими правдивыми словами, благородными чувствами и красотой своего таланта умел пробуждать в душе столько света и тепла.

Прошли десятки лет. Крепостное право стало далеким кошмаром; вопрос о необходимости народного образования стало совестно называть «вопросом»; те общественные течения, которые с такой чуткостью улавливал Тургенев, уже давно влились в другие русла и больше не волнуют русское общество, а Тургенев все-таки живет между нами и, может быть, больше, чем когда-либо, оценен по своему художественному значению.

Когда он писал свои романы—читатели слишком увлекались современностью их и спорили с автором, верно или неверно изобразил он данное явление русской действительности; обижались на него, обвиняли в клевете или восхищались *сходством* написанного с только что пережитым. Теперь все это отпало. Те его произведения, которые когда-то отвечали на вопросы, носившиеся в воздухе, сохраняют и до сих пор свою свежесть и обаяние.

«Записки охотника» и в наше время читаются всеми грамотными русскими и дают высокое наслаждение.

Такова судьба художественного творения. Красота формы спасает от забвения, и, чем ближе доведена она до совершенства, тем устойчивее слава произведения.

Сам Тургенев не отрекался от преднамеренности содержания своих произведений; не отрицал он и того, что «Записки охотника», например, написаны для борьбы с врагом, с которым он поклялся никогда не мириться. Выбор содержания, освещение его, обрисовка характеров были задуманы и выношены Тургеньевым, с определенной идеей; но, когда он начинал писать, им уже овладевала другая сила, как-бы вне его стоящая: художественная форма захватывала его мысли и облекала их в незабывае-



мые образы и картины. Сам Иван Сергеевич говорил: «Я не столько не хочу, но я совершенно *не могу*, не в состоянии, написать что-нибудь с предвзятою мыслью и целью, чтобы провести ту или другую идею. У меня выходит произведение литературное так, *как растет трава*».

Насквозь пропитанный ненавистью к крепостному праву, негодованием и злобой против насильников, приступил Тургенев к литературной борьбе с «врагом». Но ни злобы, ни ненависти нет в «Записках охотника»: в каждом рассказе, на каждой странице, чувствуется одна и та же сила, которая могущественнее всего на свете. Лучше самого Тургенева не определить этой силы: в одном из «Стихотворений в прозе»—*Воробей*—он рассказывает, как его собака Трезор хотела броситься на упавшего из гнезда беспомощного молодого воробушка... «Как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой—и весь вз'ерошенный, искаженный, с отчаянным жалким писком, прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти. Он кинулся спасать, он заслонил собою свое детище... Он жертвовал собою!.. И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... *Сила сильнее его воли*—сбросила его оттуда.

„Мой Трезор остановился, поцятился... Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать *смущенного пса*—и удалился, благоговей...”

„Да, не смейтесь. Я благоговел перед этой маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом.

„Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, *только любовью держится и движется жизнь*“.

Точно также и Тургенев, родившийся и выросший в помещичей богатой среде—не мог усидеть на своей высокой ветке: сила сильнее его воли сбросила его оттуда.

Его любовь к народу, к родине кинула его на защиту униженных и обиженных, и в этом его сила. И сила, и счастье. Один французский поэт сказал, что в этом мире надо лю-

бить многое, чтобы быть счастливым. Тургенев любил и природу, и животных, и человека; любил искусство, науку, мысль, Бога.

Природа для Тургенева была источником таких радостей, какие даются только счастливым, умеющим *по-настоящему* любить ее. И для описания ее у него находятся такие слова, что читатель научался видеть ее красоту и любить ее.

Пейзажная живопись „Записок охотника“ не знает себе ничего равного во всей нашей литературе. Ни у кого описание природы не является таким необходимым спутником описаний человеческой души в полной гармонии с нею, и едва ли у кого они доведены до такой безукоризненной формы. Особенно пленительны у него описания русской деревни, с которой он с детства сроднился и подружился. Вот, например — последний день июля месяца. На тысячу верст кругом, Россия — родной край...

„Ровной синевою залито все небо; одно лишь облачко на нем — не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь.. Воздух — молоко парное!“

«Жаворонки звенят; воркуют зобатые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают и жуют; собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостом».

„И дымком-то пахнет, и травой — и дегтем маленько — и маленько кожей. — Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжелый, но приятный дух.“

Так описать деревню, так почувствовать ее — мог только настоящий русский художник. И он описывает ее везде с одинаковой любовью. Как охотник, он проводил в лесу и в поле долгие часы и тесно сблизился с природой. Он видел ее во всякое время дня и ночи, во всех ее красотах, во всех ее ужасах. Каждый звук, малейшее дрожание ветки, мимолетная тень, дуновение ветерка, все то, мимо чего обыкновенные смертные проходят, не замечая, отмечались им, как чутким художником, воплощались. Простые, но прекрасные, русские слова, и дают читателю тре-



петное художественное наслаждение. Например, описание сада в „Трех встречах“—одна из тех картин, которые никогда не забудешь!

„Неподвижно лежал передо мной небольшой сад, весь озаренный и как бы успокоенный серебряными лучами луны, весь благовонный и влажный... Молодые яблони кой-где возвышались над поляной, сквозь жидкие ветки кротко синело ночное небо, лился дремотный свет луны... С одной стороны сада липы смутно зеленели, облитые неподвижным бледно-ярким светом, с другой—они стояли, все черные и непрозрачные; странный сдержанный шорох возникал по временам в их сплошной листве; они как будто звали на пропадавшие под ними дорожки, как будто манили под свою густую тень. Все небо было испещрено звездами, таинственно струилось с вышины их голубое, мягкое мерцание; они, казалось, с тихим вниманием глядели на далекую землю... Все дремало, все нежилось вокруг; все как будто глядело вверх, вытянувшись, не шевелясь и выжидая... чего ждала эта теплая не заснувшая ночь? Звука ждала она; живого голоса ждала эта чуткая тишина—но все молчало. Соловьи давно перестали петь, а внезапное гудение мимолетного жука, легкое чмокание мелкой рыбы в сажалке за липами, на конце сада сонливый свист встрепенувшейся птички, далекий крик в поле, до того далекий, что ухо не могло различить, человек ли то прокричал, или зверь или птица, быстрый шорох по дороге—все эти слабые звуки, эти шелесты только углубляли тишину“...

Природа у Тургенева—не немая свидетельница человеческих страданий и волнений, она неразрывно связана с настроением его героев. Так, напр., в „Дворянском Гнезде“, когда Лаврецкий едет домой после разговора с Лизой, с кроткой, спокойной Лизой, под впечатлением ее нетронутой юности, ласковости ее засветившихся глаз—„обаяние летней ночи охватило его; все вокруг казалось так неожиданно-странно и в то же время так давно и так сладко знакомо; вблизи и вдали все покоилось; молодая

расцветающая жизнь сказывалась в покое... Звезды исчезли в каком-то светлом дыме; неполный месяц блеснул твердым блеском: свет его разливался голубым потоком по небу и падал пятном дымчатого золота на проходившие близко тонкие тучки; свежесть воздуха охватывала все члены, лилась вольною струей в грудь».

Совсем другое настроение чувствуется в природе, когда Н. (герой повести Ася), весь охваченный тревожным чувством к этой странной девочке, с ее полудикой прелестью, переезжает чрез реку и смотрит на небо:

„Но и в небе не было покоя: испрещенное звездами оно все шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился к реке... но и там, и в этой темной холодной глубине, тоже колыхались, дрожали звезды; тревожное оживление мне чудилось повсюду, и тревога росла во мне самом. Шопот ветра в моих ушах, тихое журчание воды за кормою меня раздражали, и свежее дыхание волны не охлаждало меня. Слезы закапали у меня на глазах, но то не были слезы безпредметного восторга: Нет! во мне зажглась жажда счастья“.

Природа здесь точно принимает участие в жизни человека. И так почти во всех произведениях Тургенева. Пробуждение сердца, предчувствие любви, тревога дум, туманное ожидание счастья, печаль о неудачной жизни — все это находит отголосок в природе: дыхание тихой теплой ночи, кроткий летний вечер, утренняя заря, лиловый туман, играющие лучи восходящего солнца, — живут вместе с человеком. Это приводит читателя в требуемое настроение и, может быть, в этом кроется тайна огромного впечатления, производимого Тургеневым. Любя природу, Тургенев не может не любить и животных, так тесно с ней связанных. Его описания птиц и собак — не забываемы. Стоит только вспомнить старого черногрудого воробья, который кинулся спастись от собаки свое детище... Или белого голубя, самоотверженно полетевшего за товарищем и спасшего его от бешеной бури.



„Нахохлись оба — и чувствуют каждый своим крылом крыло соседа...

Хорошо им! И мне хорошо, глядя на них... Хоть я и один... один, как всегда“.

А тощая собаченка Муму, — единственное утешение немого раба Герасима, так кротко пошедшая за ним на смерть. Как ее жалеешь и любишь, вместе с автором.

Но больше всего Тургенев любил *человека*. Дети, женщины и старики — все одинаково близки и знакомы ему, но всего ближе слабые, безвольные, скитальцы, лишние, покинутые... Вспомните «Дневник лишнего человека», «Переписку», „Живые мощи“; с какой нежной печалью Тургенев описывает их переживания. „Живые мощи“ — одно из замечательнейших произведений Тургенева. Из больной, никому не нужной крестьянки Лукерьи автор создал пленительный русский образ. Смирение, радость страданий и всепрощение — черты русского человека; Лукерья не знает ни зависти, ни злобы; лежит она целыми годами, больная, высохшая, в заброшенном сарае, никому не нужная, но всех любящая. Когда-то она была веселая, живая, бойкая, любимая... Внезапно заболела и слегла навсегда. Жених её скоро утешился и женился на другой. А она осталась одна со своими думами и малу-по-малу дошла до полного просветления. Она ничего не требует от жизни, ничего не ждет, следит, как живет природа и радуется...

„Гречиха в поле зацветет или липа в саду — мне и сказывать не надо (говорит она); я первая сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что Бога гневить: многим хуже моего бывает“.

„Смотрю, слушаю. Пчелы на пасеке жужжат да гудят; голубь на крышу сядет да заворкует; курочка-наседка зайдет с цыплятами крошек поклевать, а то воробей залетит или бабочка — мне очень приятно. В позапрошлом году так даже ласточки вон там, в углу, гнездо себе свили и детей вывели. Уж как-же оно было занято!.. А то, раз.. вот смеху-то было! Заяц забежал, право!.. сел близехонько

и долго так сидел, все носом водил и усами дергал — настоящий офицер! И на меня смотрел. Понял, значит, что я ему не страшна... смешной такой!“

Смирение русского человека достигло в Лукерье высшей степени. Слияние с природой, близость к Богу отрезали ее от жизненных тревог. Она и к смерти относится совершенно спокойно, видит таинственные, чудесные пророческие сны, Христа видит и царство небесное; видит во сне смерть свою, в образе большой женщины, с глазами желтыми, как у сокола и светлыми-пресветлыми: она радостно просит смерть взять ее, и та назначает ей время после Петровок. И Лукерья, действительно, умирает после Петровского поста.

„Рассказывали, что в самый день кончины, она все слышала колокольный звон... Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, а сверху. Вероятно, она не посмела сказать „с неба“.

Рядом с Лукерьей можно поставить Касьяна с Красивой Мечи. Это — вечный странник с поэтической душой и любящим сердцем. Ему не сидится дома, и он скитается по России, „ищет правды“.

„Много ли дома-то высидишь?“ говорит он, — а вот, как пойдешь, как пойдешь, и полегчает, право. И солнышко на тебя светит, и *Богу-то ты видней*, и поется-то ладней. Тут, смотришь — трава какая растет, ну, заметишь, сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьешься, заметишь тоже; птицы поют небесные. А то за Курском пойдут степи, этакие степные места, вот — удивление, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот Божия-то благодать! И идут они, люди рассказывают, до самых теплых морей... И вот уж я бы туда пошел... Вед я мало ли куда ходил!.. Ну, вот пошел бы я туда... и не один я, грешный... много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут... Да!.. А то что дома-то, а? Справедливым в человеке нет, вот оно что!“..



Касьян живет в своих грезах, хорошо поет, сам сочиняет песни. Он живет в созерцании природы, слушая пение птиц и подражание им, ловит соловьев, на утешение и Веселье человеку.

Он считает грехом скоту убиение Божьей твари для своей потехи... Пускай она живет на земле до своего предела... Святое дело—кровь! Кровь солнышка Божия не видит, кровь от света прячется... Великий грех показать свету кровь, великий грех и страх...

Тургенева упрекали, что он рисует вымышленно мужика; но он и не выдумывает его, а умел находить и открывать читателю поэтические стороны народной души. Тургенев считает, что исконное свойство русской природы — человечность. И он в забытом рабе видит прежде всего русскую правдивую душу и в простых, но великих образах показывает нам простого русского человека, сумевшего остаться человеком и в самом нечеловеческом положении.

Этого же человека он умеет найти и в забытом Герасиме (Муму), и в горячем Акиме („Постоялый двор“); в этом видно, как глубоко проникся он русскими народными началами и как понимал народную душу.

Но отношение Тургенева к русскому народу не ограничивалось одним восхищением, он видел его недостатки, но жалость и любовь к нему, как любовь к родине, заставляла его всему находить об'яснение и всему прощать. Любовь к родине и вера в нее ни на минуту не покидала Тургенева. «Что выше всех сомнений, чему нельзя не верить после Бога,—говорит один из героев Тургенева про родину. Живя на западе, Тургенев еще острее чувствовал любовь к России: „Россия, говорит он,—без каждого изнас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто думает обойтись без нее; двойное горе тому, кто, действительно, без нее обходится“.

И все настоящее-русское было дорого и близко его русскому сердцу, но у него, как у художника слова, любовь к родине ярче всего сказалась в благоговейном отношении к

русскому языку.», Одна последняя просьба,—говорит Тургенев, обращаясь к писателям,—берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками, в числе которых блистает Пушкин. Сам он писал превосходным русским языком и необычайно строго относился к чистоте его, взвешивая каждое слово, каждое выражение. В этом он является достойным учеником Пушкина. Кроме красоты русской речи, Тургенев находил в ней для себя источник бодрости и нравственной силы, спасавшей от сомнений и отчаяния.

„Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! — Не будь тебя — как не впасть в отчаяние, при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.“

Русский язык и русская песня шли ему прямо в сердце и находили там восторженный отзвук. Любовь русского человека к музыке, к песне всецело разделялась и понималась самим Тургеневым. Потрясающее действие пения гениально изображено нашим писателем в рассказе „Певцы“. Дальше этого описания значения для человека пения — итти некуда.

В грязной обстановке кабака состязаются два певца; слушатели — случайный народ, но любители пения. Когда первый певец залихватски запел веселую песню, все вострепнулись, стали подтягивать, покрикивать: „Лихо! Забирай шельмец!“ После окончания — общий слитный крик ответил ему неистовым взрывом.

Запел второй певец — Яшка, черпальщик на бумажной фабрике у купца. У него был слегка разбитый голос, но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная скорбь. „Русская правдивая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны“.



Всем стало сладко и жутко. «Песнь росла, развивалась. Яковом, видимо, одолевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью, голос его не трепетал более, он дрожал, но той едва заметной дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя... Он пел и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед нами, уходя в бесконечную даль.

Чистое веяние искусства точно очистило все кругом, и в грязном кабаке все просветлело. Слушатели умиленно отозвались на вдохновенное пение: «серый мужичек тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шопотом покачивая головой; жена целовальника плакала, припав грудью к окну»...

Вообще песня, музыка и звуки природы имели для Тургенева громадное значение. В Лукерье, в этих живых мощах, живет любовь русского человека к пению; она поет слабым, едва слышным, но чистым и верным голосом. И Касьян с Красивой Мечи любит петь и поет хорошо. Калиныч любил музыку и пел, и это сближало его с хором который подтягивал ему. Читатель припомнит изумительные описания действия музыки речи, рассыпанные по произведениям Тургенева. Совершенно ясно, что автор сам испытал это действие, и мы знаем, что до конца жизни пение, человеческий голос были для Тургенева главным наслаждением\*).

---

\*) Много писалось о неудачно сложившейся жизни Тургенева, об его любви к чужой жене, иностранке П. Виардо, об его одиночестве. Но все это искупалось теми радостями, которые давало ему пение Полины Виардо. При первом же знакомстве она зачаровала его своим удивительным голосом, и он всю жизнь не мог, да и не желал уйти от этих чар. У А. Э. Кони в его воспоминаниях о Тургеневе есть беспристрастное свидетельство этого. Мы позволим себе привести его здесь:

Это было в Париже, в 1879 году. А. Э. Кони заехал за Иваном Сергеевичем, чтобы отправиться вместе завтракать. Кони был поражен оброшенностью комнаты нашего великого писателя. Густой

Изо всех искусств музыка выделялась Тургеневым на особое место, хотя он считался одним из лучших знатоков живописи, а поэзию понимал и чувствовал, как никто. „Любовь и искусство, — вот те две силы, которые двигают миром, — говорил Тургенев. Сила искусства олицетворена им в стихотворении «Стой». В нем открытая тайна, тайна поэзии, жизни, любви! В нем бессмертие! Кто так любил и верил в искусство, как Тургенев, тому легко было жить И Тургенев любил жизнь. Во всех его произведениях эта жизнь кипит и рвется вперед. «Мы еще повоюем, — восклицает он, увидя семейку воробьев, бойко, забавно и самонадеянно прыгавших, несмотря на то, что над ними кружил ястреб.

«Особенно один из воробьев так и надсаживал бочком, выпуча зоб и дерзко чирикавая, словно и черт ему не брат! Завоеватель и полно!»

...«Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся, — и грустные думы тотчас отлетели прочь: *отвагу, удаль, охоту к жизни почувствовал я.*

И пускай надо мною кружит *мой ястреб...*

— Мы еще повоюем, черт возьми!»

«Жизнь только того не обманывает, — говорит Тургенев в одном из своих произведений («Переписка»), — кто не размышляет о ней и, ничего от нея не требуя, принимает спокойно ее немногие дары и спокойно пользуется ими. Идите вперед, пока можете, а подкосятся ноги, сядьте

слой пыли на всем. Полуоборванная штора. Пальто с оборванной пуговицей. «Вы напрасно ищете пуговицу, заметил Кони, ее нет. — „Ах! — воскликнул он, и в самом деле. Ну, так мы застегнемся на другую»; Но и вторая пуговица болталась на ниточках.

Он добродушно улыбнулся и, махнув рукою, просто запахнул пальто...» Когда, спускаясь с лестницы, они приблизились к дверям квартиры Виардо, из-за которых слышалось ее пение, Тургенев остановился и сказал, показывая глазами на дверь: „Какой голос... До сих пор! — „Я не могу забыть, — прибавляет Кони, — ни выражения его лица, ни звука его слов в эту минуту: такой восторг и умиление, такая нежность и глубина чувства выражались в них.



близ дороги да глядите на прохожих, без досады и зависти: ведь и они недалеко уйдут!»

И они недалеко уйдут! Эта мысль о смерти постоянно вставала перед Тургеневым именно от того, что он любил жизнь. Его умиляло отношение к смерти русского человека.

«Удивительно умирает русский мужик! Состояние его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью; он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто».

В таком отношении к смерти сказывается простая русская душа и русское смирение. Никакой боязни, никакой тревоги, никакой жалости к оборванной жизни. Подрячик Максим пришибленный деревом, умирая, заботится, чтобы передал жене деньги и купленную накануне лошадь. А когда его стали успокаивать, что, может быть, он еще и не умрет он спокойно сказал: «Нет, умру, Вот... вот подступает... вот она... вот... простите меня, ребята, коли в чем.....

— Бог тебя простит! Прости ты нас...»

Другой мужик, узнав в больнице, что его положение безнадежно, — уезжает домой, «распорядиться, коли так...»

Недоучившийся студент, Авенир Сорокоумов, зная о близкой смерти, не вздыхал, не сокрушался, даже ни разу не намекнул на свое положение автору, который заехал навестить его.

„Все бы ничего, — сказал он своему собеседнику после мучительного приступа кашля, — кабы трубочку выкурить позволили... А я уж так не умру, выкурю трубочку, — прибавил он, лукаво подмигнув глазом, — слава Богу, пожил довольно; с хорошими людьми знался“...

Эти смерти, как и смерть старушки - помещицы, хотевшей заплатить священнику за свою собственную отходную, невольно заставляют повторить: „Вообще удивительно умирают русские люди!“

И Тургенев, всю жизнь относившийся к смерти с нервностью и ужасом, — сам „Удивительно умирал“. Он

переписывался с друзьями, жаловался на нестерпимые боли, но принимал „смерть“ так же смиренно, как русский народ ее принимает. И когда он потерял всякую надежду на выздоровление и понял, что близкий конец неизбежен, — он успокоился: „пожил в свое удовольствие,—пишет он в одном письме,—а теперь надо и честь знать... „Он среди совершенно невыносимых страданий находит в своей душе силы страдать за других. Когда он узнал о железнодорожном несчастии близ его имения, что провалилась насыпь, и поезд засосало трясинной — Иван Сергеевич писал:

„Ужасные слова: стоны слышались под землей до 10 часов утра—так и засели гвоздем в голову...

„...Как меня измучила Батѣвская катастрофа —вы представить не можете. Мне постоянно мерещатся эти несчастные, задохнувшиеся в тине, и хотя открытие их теперь уже, конечно, ничему не поможет, но я весь горю негодованием при мысли, что в течение нескольких дней ничего не было сделано“. Он упрощает друзей, проводивших лето в Спасском, сделать для близких тем, кто погиб, „все, что бы он сделал, если бы находился на месте“.

За несколько дней до смерти он беседовал с друзьями и произнес знаменательные слова: *Живите и любите людей, как я их всегда любил*“.

Любовь к жизни, любовь к людям остались в Тургеневе до самой последней минуты, пока не погасло сознание.

Эта любовь — основа всех его произведений. Особенно хорошо он описывал женскую любовь. Во всех его романах и повестях, рядом с изображением разных сторон русской жизни — описывается эта любовь. Известный критик Добролюбов назвал Тургенева певцом „чистой, идеальной, женской любви“.

Его героини — большею частью молодые девушки — чисто русские души, с их самоотвержением, жадой подвига и милосердием. Тургенев рисовал их в расцвете их сердечной жизни, когда с любовью к человеку в них вспыхи-



вало и стремление к делу, к разумному существованию. Но, когда жила Тургеневская Лиза (Дворянское гнездо) или Наталья (Рудин), девушка или женщина была еще раба предрассудков и невежества. И Тургенев, любивший свободу в самом высшем смысле слова, показал русской женщине, что она должна и *может* разбить оковы, веками сковывавшие ее. Уже Наталья (Рудин), в обстановке крепостного права, почувствовала, что жизнь без мысли, без дела—невыносима. Она—под влиянием любви к Рудину почувствовала в себе силу и страстную потребность применить эту силу к делу. Ей показалось уже невозможным жить одними красивыми речами. Она и любимому человеку—Рудину говорит: „вы должны трудиться, быть полезным“.

Но ведь Наталья жила в сороковых годах. Что могла сделать, как могла работать тогда женщина, без малейшей самостоятельности, без образования, без сознания своего права на свободное существование?

Через десять лет в русской жизни почувались веяния новых течений, и появилась Елена (Накануне). Она уже с детства жаждала деятельного добра: нищие, голодные, больные тревожили ее сердце; она отдавала им свою душу, а не ограничивалась только подачей милостыни. Отец подсмеивался над ее милосердием даже к больным или притесненным животным, называл это «пошлым нежничаньем», но она не смущалась, делала свое маленькое дело. Уже десяти лет—потребность доброго участия проявилась в ее дружбе с нищей девочкой Катей. Елена тайком убегала к ней в сад, приносила ей подарки, садилась с ней куда-нибудь, за кустом крапивы, и, слушая ее рассказы—с чувством радостного смирения ела ее черствый хлеб. С тайным уважением и страхом внимала она неведомым новым словам, когда Катя рассказывала, как она будет жить *на всей Божьей воле*. И долго потом Елена думала о нищих, о Божьей воле, о том, как она сама уйдет на эту волю и будет скитаться и делать добро... Эти беседы укрепили в ней тот

идеал человечности и добра, которому она отдала потом всю жизнь.

Когда она встретила и полюбила болгарина Инсарова, подготовлявшего восстание против турок ради освобождения своей родины—цель его жизни показалась ей такой великой, что она, не задумываясь, пошла за ним, без страха, без сомнения, без оглядки. Ни печаль огорчить мать, ни боязнь прогневить отца, ни рабское послушание предрассудкам и классовым требованиям не остановили ее. Все это показалось ей слишком мелким перед громадным, смелым делом освобождения угнетенных. И она бесповоротно порвала со всем, чем жила прежде, и всю себя отдала любви и делу любимого человека.

Елена является в русской литературе первой девушкой, политической деятельницей, которых было потом в России так много, как ни в одной стране.

Борьба за равноправие и свободу привела русских женщин к политической борьбе. Тургенев в своем романе «Новь» дал нам тип такой девушки—в Марианне; она—вся идея, вся самоотвержение. Самолюбивая и сильная, она вся отдалась делу революции и с гораздо большей смелостью шла по выбранному ею пути, чем любимый ею человек. Продолжение типа Марианны Тургенев дал в своем «Стихотворении в прозе—*Порог*». Здесь девушка, одна из тех «святых», которые сознательно шли в ссылку или на казнь—не останавливается никакими доводами от решения спасти свою родину тем путем, как она это понимает.

---

Тургенев, любивший свободу превыше всего—не был революционером. Его личные свойства—мягкость, нервность и душевная изнеженность—не давали ему возможности стать борцом.

С другой стороны—у него были настолько определенно-выраженные *личные* свойства, *личные* взгляды и требования от людей и от жизни, что он не мог идти в



ногу ни с кем; он действовал *один*, как диктовала ему его совесть.

Известный революционер Драгоманов, эмигрант, долго живший за границей и хорошо знавший Тургенева, писал о нём.

«Я скажу, что не видал человека такой широты и свободы мысли, такой разнородности интереса; с этих сторон у Тургенева была поистине «богоравная» натура... «Несомненно одно,—говорит Драгоманов дальше,—а именно, что Иван Сергеевич был в идеях своих решительным противником абсолютизма в России».

И не может быть сомнения в том, что Тургенев искренно откликался на все, что могло вести к идеалам свободы, света и добра. Его долголетняя дружба с Герценом всем известна. Он был, по свидетельству того же Драгоманова, близким участником, чуть не членом редакции «Колокола», в 1860 и 61 годах, когда этот журнал не только был запрещен в России, но и упоминать о нем было небезопасно. В 1862 году Тургенев решил сам выступить активным политическим агитатором в пользу адреса о созвании в России Земского Собора, но разошелся с Герценом относительно момента подачи и мотивировки такого адреса.

Перед этим Тургенев явился внушителем довольно резких статей в „Колоколе“ против Александра II и его правительства.

По освобождении крестьян Тургенев, как мы сказали выше, весь отдался литературе и занял в ней *свое* особое место.

Н. К. Михайловский, известный критик и публицист, сказал про Тургенева: «Не принимая активного участия в борьбе со свинцовым мраком, стремящимся облечь нашу родину, не занимая даже никакого определенного места в литературе *в этом отношении*,—Тургенев служил идеалам свободы и просвещения самым, так сказать, фактом своего существования, наличностью своего первостепенного

таланта и своей не русской только, а европейской славой. Ни для кого не было тайной, куда направлены симпатии этой красы и гордости русской литературы и из змеиных и жабьих нор не раз раздавались за это зловещие шипения по его адресу».

Из этих змеиных и жабьих нор шли иногда прямые доносы на Тургенева, на его дружбу с русскими эмигрантами в Париже, на участие в запрещенных журналах,—на его значение в русском революционном движении. Если сочувствие всему, что несет с собою полное освобождение личности—революционно, то Тургенев был ярким революционером; но в политическом смысле—он сам называл себя *постепеновцем*. Он верил, что просвещение и культура должны неизбежно привести к пониманию и безболезненному усвоению таких форм политической жизни, которая даст народу свободу в самом широком и в самом высшем значении этого слова.

Тургенева называли западником. Да и сам он называл себя так. Мы видели, как это сложилось. Измученный дома, т. е. в родном гнезде, зрелищем рабской жизни и невозможностью изменить что-нибудь в ужасах крепостного права, пустившего такие глубокие корни, неудовлетворенный русской школой и отношением к науке—молодой Тургенев уехал доучиваться на запад. Тогда считали, что источник настоящего знания находится в Берлине, где были знаменитые профессора; туда, по примеру многих соотечественников, поехал и Тургенев. Уехал он с верою, что *запад* должен очистить и возвратить его, и когда, вернулся, то очутился, по его признанию, *западником*, (т. е. приверженцем европейской культуры) и *остался им навсегда*. Он никогда не признавал „той неприступной черты, которую иные заботливые и даже рьяные, но мало сведующие патриоты непременно хотят провести между Россией и Европой“. Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего вли-



яния и с детским ужасом отмахиваться от него, как бы он нас не испортил?“—спрашивал он.

„России,—говорил И. С.—нечего дрожать за себя и ревниво оберегать свою самостоятельность; в сознании своей силы, она даже любит тех, кто указывает ей на ее недостатки“.

На западе—Тургенев сразу нашел то, что отвечало его большому уму, его чуткой душе и широким взглядам: науку, искусство, уважение к личности и свободу.

А главное—нашел себя, нашел свою внутреннюю свободу, полную свободу воззрений и понятий.

„Ничто так не освобождает человека—по словам И. С., как знание, и нигде так свобода не нужна, как в деле художества, поэзии. Пушкин, наш великий поэт Пушкин, это глубоко чувствовал и завещал писателям: „Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум“...

Тургенев признавал, что он западу обязан этим освобождением ума и сознанием того, что он *может*, что *должен* делать. Писатель-художник нашел себя и пошел свободною дорогой... Если-бы он оставался в России, продолжал служить или вести жизнь помещика в деревне—вышел ли бы из него такой изумительный художник? Нѣт! „Без образования, без свободы в обширнейшем смысле—в отношении к самому себе, к своим предвзятым идеям и системам, даже к своему народу, к своей истории, — не мыслим истинный художник; без этого воздуха дышать нельзя“.

В России того времени не было возможности дышать и мыслить; и Тургенев, как Герцен, сознав это, уже не мог изменить западу. Но жизнь на чужбине никогда не отрывала Тургенева от работы. Где бы он ни жил, как бы ни работал—мысли его всегда были о России, работа всегда для русских. Он еще в 1856 году писал своим друзьям из Парижа: „Пребывание во Франции произвело на меня обычное свое действие: все, что я вижу и слышу, как-то теснее и ближе *прижимает* меня к России, все родное становится мне вдвойне дорого“.

Издали ему стали виднее все печали родины, большее отзывались в нем ее стоны и слезы — и он еще горячее полюбил ее. Не даром один из знаменитых французских писателей (Эдмон Абу) в своей речи над прахом Ивана Сергеевича сказал, что Франция с гордостью усыновила бы Тургенева, если бы он того пожелал, но он всегда оставался верным России. «Вы были правы, — прибавил Абу, обращаясь к уснувшему на веки Тургеневу, — потому что кто не любит своего отечества безгранично, слепо, безумно — всегда будет только на половину человеком. Ваше сердце принадлежало всему человечеству, но Россия всегда занимала в нем первое место».

И действительно — Тургенев не только любил Россию и все русское, в нем не только никогда не потухало чувство родины, но он был деятельным врагом космополитизма и энергично боролся со слепым подчинением западу, со всяким подражанием ему, а главное: со всяким отречением от «родного». Он говорил, что у каждого народа — неизбежно складывается свой облик и душевный, и физический, вырабатывается свой собственный язык, склад ума, характера, т. е. то, что составляет так называемые национальные черты. И кажется, никто, как Тургенев, не сохранил до смерти таким нетронутым западным влиянием все это — начиная с физического облика. Уже много раз писали, что внешнею он походил на деревенского Старосту, т. е. на почтенного мужика, с русской окладистой бородой. И это сходство с русским крестьянином прежде всего бросалось в глаза при первом знакомстве с Иваном Сергеевичем и внушало доверие, что и душа крестьянская всегда оставалась близка и понятна ему, потому что она была не чужой ему.

Значение запада и его влияние было не раз объяснено Тургевневым. Напомним следующие строки из романа „Дым“: „Ведь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вам пригодно; стало быть, вы соображаете, вы выбираете. А что до результатов — так вы не



извольте беспокоиться: своеобразность в них будет, в силу местных климатических и прочих условий. Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудок ее переварит посвоему; и со временем, когда организм окрепнет, он даст *свой* сок... Весь вопрос в том, крепка ли натура? А наша натура—ничего, выдержит: не в таких была передрягах“...

Эта русская натура — давала веру Тургеневу в народ в его великое будущее. Ивана Сергеевича часто упрекали, что он рисовал русского мужика издали и в нем видел только хорошие стороны. Это неверно. Тургенев с его исключительным умом и зорким сердцем прекрасно понимал и чувствовал все мрачные стороны нашего крестьянства, видел все его недостатки. Стоит припомнить ту страницу из „Отцов и Детей“, где Тургенев описал свои наблюдения над крестьянами накануне реформы (в 1859 году) в усадьбе Кирсановых. Да и сам Иван Сергеевич испытал не мало огорчений от своих крестьян, особенно от дворовых, когда он приехал в Россию, преисполненный радостных вестей об отмене крепостного права. Он вернулся домой приветствовать свободу и братство и на первых же шагах встретил обидное недоверие, взаимное непонимание, ненужные обиды... И все-таки это ни на минуту не поколебало его веру в народ. Он в него верил, потому что любил и понимал его. Тургенев глубоко проник в народную душу, отлично видел, как дурное, так и хорошее в ней, но его бессознательно тянуло описывать не отрицательные, а положительные черты человека, и он их так и описывал.

Он не повторял с другими, что народ темен, грязен, жесток, а рисовал под грязным тулупом—великодушное сердце, под суеверием—поэтическую душу; вместо жестокости—смирение и всепрощение. Во времена Тургенева это показалось почти откровением. Припомним еще маленького, блаженного Касьяна с Красной Мечи с его чистым сердцем, всепрощающего Герасима («Муму»), кроткую Лу-

керью—страдалицу, превратившуюся в «живые мощи» и все-таки заявляющую: „Ничего мне не нужно: всем довольна, слава Богу!..“ Или Сучка из Льгова: был он всем, чем пожелали господа его сделать: и кучером, и сапожником, и господским рыболовом, и садовником, и доезжачим. Продавали его и передавали по наследству разным владельцам, и каждый новый хозяин давал ему новое назначение, а иногда, по прихоти, и новое имя.

Был он, по приказанию одной из своих господ, и актером ... „раз слепого представлял... Под каждую веку... по горошине положили“... А из актеров разжаловали в повара за то, что брат его сбежал...

И Сучок прибавляет: «А я, батюшка, не жалуясь!»

Нельзя без умиленного волнения читать и то стихотворение в прозе, где Тургенев описывает убогую, крестьянскую семью, принявшую сироту-племянницу в свой разоренный домишко. — Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут: не на что будет соли добыть, похлебку посолить. — А мы ее и несоленую, — ответил мужик — ее муж.

Приведем еще один пример смиренного великодушия, доходящего у русского человека до геройства.

Когда русские войска находились за границей, один из наших солдат был оклеветан хозяйкой, у которой он жил: она донесла, что он украл у нее двух кур. По приказу главнокомандующего, солдата должны были повесить. Хозяйка, не ожидавшая такого ужасного приговора, увидя его у виселицы, разрыдалась. Солдат сказал стоящему подле нее: «Скажите ей, чтоб она не убивалась: *ведь я ей простил*»... Свидетель казни воскликнул: «праведник!» — и слезы закапали по его щекам.

---

В подобных картинах, простых, ясных и, главное, в высшей степени художественных—сила Тургенева. Ему нельзя не верить, потому что он сам верит.



И в этом его не умирающее значение. Он заговорил о народе таким языком, каким до него еще не говорили, и в такое время, когда народ в России был на положении бесправного раба. Он вселил великую веру в него, заставил увидеть в нем «человека», почувствовать живую душу, великое сердце...

Он заповедал всем: «С народом должно обращаться искренно, честно и с полным уважением» и первый подавал пример этому. Живописуя совершенно искренно и просто русского крестьянина, он показал народную душу во всей ее сложной красоте и заставил полюбить ее.

К народу потянулись сердца. Ради него приносилась в жертву личная свобода, иногда и жизнь. Конечно, это движение порождено не Тургеневым, во всяком случае, не им одним. Но несомненно, что любовь И. С. к народу, зажгла сердца и потребовала деятельного участия в его жизни. Один из героев Тургенева восклицает: «А ты, неведомый нам, но любимый нами всем нашим существом, всею кровью нашего сердца, русский народ, прими нас не слишком безучастно и научи нас, чего мы должны ждать от тебя!» Тысячи русских лучших людей пошли «в народ», одни—учить, другие—учиться. Мало-по-малу стирались границы, и так называемая русская интеллигенция, искупившая «кровью своего сердца» грехи отцов своих—подошла вплотную к народу.

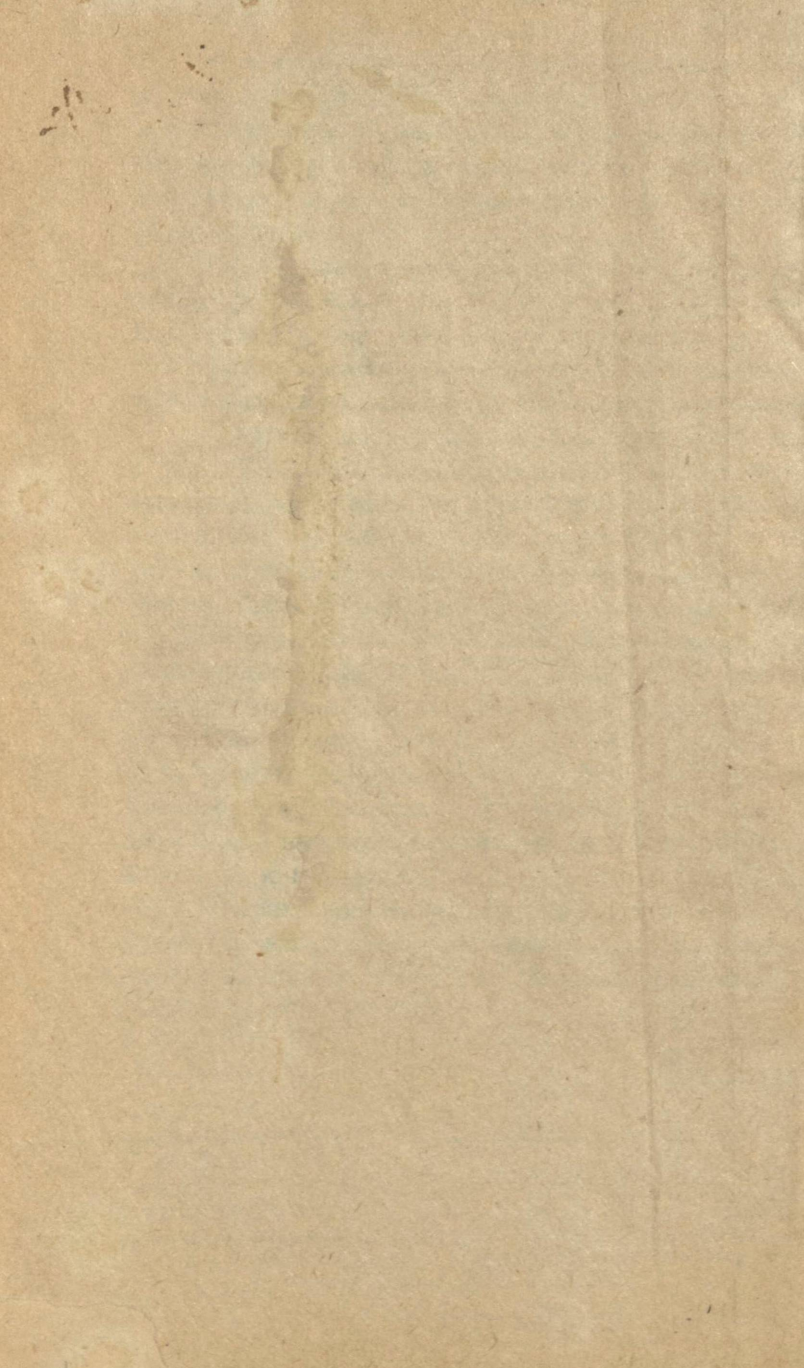
Тургенев не дожил до этого. Но, чем глубже внедрится в народе понятие настоящего *гражданина-человека*, тем ближе станет ему великий художник, друг народа — Ив. С. Тургенев.

Ек. Леткова.









BIBLIOTEKA TURGENEVA



43112